Жить, чтобы рассказывать о жизни

Автор:
Габриэль Маркес

Жить, чтобы рассказывать о жизни

Габриэль Гарсиа Маркес

Воспоминания великого писателя о детстве. Воспоминания, в которых вполне реальные события причудливо переплетаются с событиями вымышленными – и совершенно невероятными. Удивительные, необычные мемуары. Сам автор не без иронии утверждает, что в них все – «чистая правда, правда от Габриэля Гарсиа Маркеса». Это важно помнить читателю, ведь прославленный мастер магического реализма даже свои детские воспоминания облекает в привычную ему литературную форму. И совсем не случайно эпиграфом к этой книге послужили слова: «Жизнь – не только то, что человек прожил, но и то, что он помнит, и то, что об этом рассказывает».

Габриэль Гарсиа Маркес

Жить, чтобы рассказывать о жизни

Жизнь – не только то, что человек прожил, но и то, что он помнит, и то, что об этом рассказывает

1

Моя мать попросила меня съездить с ней, чтобы продать дом. Она приехала в Барранкилью утром и не имела представления, как меня найти. Стала

расспрашивать знакомых, и ей посоветовали заглянуть в книжный магазин «Мундо» или в соседние кафе, куда я заходил по два раза на дню, чтобы поболтать с друзьями-писателями. «Но будьте осторожны, – предостерегли ее, – они совсем чокнутые». Она появилась ровно в двенадцать. Прошла своим легким шагом между столов с выставленными книгами, остановилась передо мной, глядя мне в глаза с лукавой улыбкой давних лучших дней, и, прежде чем я успел отреагировать, сказала:

– Я твоя мать.

Что-то изменилось в моей матери, я не сразу ее узнал. Это естественно, если учесть, что за свои сорок пять лет она рожала одиннадцать раз, то есть десять лет была беременна и как минимум еще столько же кормила детей грудью. Она была в трауре по умершей матери, совсем поседела, в глазах, казавшихся из-за бифокальных линз слишком большими для ее худого лица, было выражение испуга. Но романская красота, запечатленная на свадебном портрете, хоть и отмеченная уже аурой осени, сохранилась. Прежде всего, даже не обняв меня, мать сказала в своем обычном церемонном духе:

– Я пришла просить тебя об услуге – поехать со мной продавать дом.

Мне не надо было объяснять, что за дом, потому что для нас во всем мире существовал единственный, старый дедовский дом в Аракатаке, где мне посчастливилось родиться и который я не видел с тех пор, как мне исполнилось восемь лет.

В ту пору я только бросил факультет права, отучившись шесть семестров, в течение которых в основном читал все, что попадалось под руку, и часами мог наизусть декламировать несравненную поэзию испанского Золотого века. Я прочел все книги, какие мог достать, чтобы изучить технику создания прозы, и уже опубликовал в газетных приложениях шесть рассказов, удостоившихся восторгов моих друзей и внимания некоторых критиков. В следующем месяце мне исполнялось двадцать три, я избежал призыва в армию, дважды знакомился с триппером, регулярно выпивал и каждый день выкуривал по шестьдесят сигарет самого жуткого табака. Я сибаритствовал между Барранкильей и Картахеной де Индиос, на карибском побережье Колумбии, каким-то образом существуя на то, что мне платили за ежедневные заметки в «Эль Эральдо», а это было даже меньше, чем ничего, но прекрасно спал, иногда не один, там, где меня заставала ночь. Более-менее ясной цели в моей жизни-хаосе не было, мы,

несколько неразлучных друзей, просто жили, спорили, намеревались неизвестно на какие средства издавать дерзкий журнал, задуманный Альфонсо Фуэнмайором за три года до этого… Чего было еще желать?

Скорее от недостатка, чем избытка вкуса, я стал предвосхищать моду: задолго до появления хиппи перестал бриться, отпустил усы, носил длинные, нерасчесанные волосы, потертые джинсы, рубашки в цветочек и сандалии паломника. В темноте кинозала, не зная, что я рядом, одна знакомая сказала кому-то: «Бедный Габито – совсем пропащий». Попросив меня съездить с ней, мать сообщила, что у нее мало денег. Из гордости я заверил, что за себя плачу сам.

Но это была проблема, решить которую в газете, где я работал, было невозможно. Мне платили три песо за заметку, четыре – за передовицу, когда штатные авторы были заняты, и этого едва хватало на жизнь. Я попробовал взять кредит, но заведующий редакцией напомнил, что мой долг уже превысил пятьдесят песо. И в тот день я отважился на злоупотребление дружбой, на что ни один из моих товарищей, пожалуй, способен не был. У выхода из кафе «Колумбия», что рядом с книжным магазином, я подошел к дону Рамону Виньесу, нашему старшему другу-каталонцу, учителю и книжнику, и попросил у него взаймы десять песо. У него оказалось только шесть.

Ни моя мать, ни я, разумеется, и представить не могли, что обычная поездка всего на два дня станет для меня судьбоносной, как самое долгое путешествие, рассказать о котором не хватило бы и жизни. Теперь, в свои семьдесят пять с хвостиком, я знаю, что решение тогда ехать с матерью было самым важным моим решением.

В детстве человек больше интересуется будущим, чем прошлым, так что мои воспоминания о селении, где я родился, еще не были приукрашены ностальгией. Я помнил его таким, каким оно и было: приятное место для жизни, где все друг друга знают, на берегу прозрачной реки, которая струилась по руслу из отшлифованных камней, белых и огромных, как доисторические яйца. По вечерам, особенно в декабре, когда заканчивались дожди и воздух становился алмазным, казалось, что Сьерра-Невада де Санта-Мария со своими белыми зубцами приближается к плантациям бананов на другом берегу. Оттуда были видны индейцы аруаки, они как муравьи сновали по карнизам Сьерры с тюками имбиря на спине и жевали шарики коки, чтобы скрасить себе жизнь. Мы, дети, воображали, как из вечных снегов лепим снежки и играем в войну. Жара стояла

невероятная, особенно во время сиесты, взрослые жаловались на нее, будто ничего подобного не испытывали. С самого рождения я слышал неустанно повторяемую историю о том, что железную дорогу «Юнайтед фрут компани» строили по ночам, потому что днем невозможно было взять инструменты в руки, до такой степени они раскалялись на солнце.

Добраться от Барранкильи до Аракатаки можно было только на хлипком моторном суденышке по каналу, еще во времена колонизации выкопанном рабами, а потом по мутным водам бескрайнего болота до таинственного селения Сьенага. Там пересаживались на обычный (лучший в стране!) поезд, на котором тащились по бесконечным банановым плантациям, с бесчисленными и бессмысленными остановками в пыльных, пышущих жаром деревнях и на пустынных станциях. Вот в этот путь мы с матерью и отправились в семь часов вечера в субботу, 18 февраля 1950 года, накануне карнавала, под проливным не по сезону дождем, с тридцатью двумя песо наличными, которых бы едва хватило на обратную дорогу, если бы дом не удалось продать.

Пассат в тот вечер дул так сильно, что в речном порту мне с трудом удалось уговорить мать подняться на борт по раскачивающемуся трапу. Суденышки представляли собой уменьшенные копии новоорлеанских пароходов, но с бензиновым мотором, который придавал лихорадочный озноб всему корпусу. Там был небольшой зал со стойками для гамаков, которые привязывались на разных уровнях, и деревянные скамьи, на которых пассажиры кое-как устраивались с тюками, баулами, корзинами с курами и даже живыми свиньями. Было и несколько душных кают с двумя казарменными койками, почти всегда занятых захудалыми проститутками, наспех оказывающими путевые интимные услуги.

Мы с мамой поднялись на борт в последний момент. Все каюты уже были заняты, у нас не было гамаков, и мне с большим трудом удалось найти пару свободных стульев в центральном холле, где мы и должны были провести ночь. Таким образом, моя мама, панически страшившаяся воды и ураганов, теперь все-таки была со мной на борту судна «Магдалена», направлявшегося по течению и океанскому ветру. В порту я купил кое-какую еду, самые дешевые сигареты, в которых табак напоминал солому, и на корабле, укрывшись от ветра, прикуривая, как всегда, одну сигарету от другой, погрузился в чтение романа «Свет в августе» Уильяма Фолкнера, бывшего в то время самым авторитетным демоном из тех, кому я был предан. Мама, вцепившись обеими руками в четки, словно в канат, который мог бы вытащить трактор или удержать самолет и будто связующий ее с земной твердью, не давая низвергнуться в глубины или

вознестись на небеса, сидела ни жива ни мертва. Она, как всегда, ни о чем не спрашивала, ни о чем не просила, ни на что не роптала, но лишь молилась за жизнь и благополучие своих одиннадцати детей. Ее мольбы, похоже, достигли цели, потому что ливень стих, когда «Магдалена» вошла в канал, а легкий дождик с бризом оказались кстати, потому что отгоняли москитов. Наконец мама пришла в себя и смогла осмотреть окружающих…

Родилась она в семье скромного достатка, но выросла в эпоху, когда иллюзия богатства, витавшая над банановыми плантациями североамериканской компании, и положение семьи в ту пору позволили ей получить хорошее образование в колледже Явления Святой Девы в Санта-Марте, где учились девочки из состоятельных семей. Во время рождественских каникул она вышивала или играла на клавесине на благотворительных праздниках, под надзором тети посещала даже балы местной аристократии. Ее никто ни разу не видел с мужчиной до тех пор, пока она, против воли своего отца, не вышла замуж за молодого красивого телеграфиста. Ее главными достоинствами были чувство юмора и крепкое здоровье, которое не подорвали все невзгоды и трудности, которые она пережила. Но кроме того, была еще и чрезвычайная сила воли. Родившись под знаком Льва, она стала его олицетворением в жизни. Она – вопреки традициям наших мест, да и вообще Латинской Америки – установила в семье матриархальные отношения, и, казалось, это пришло к ней от давних предков и стало результатом парада планет. Стирая белье или готовя фасолевый суп, она оставалась главной в семье. На корабле, наблюдая, как мать переносит тяготы путешествия, я словно лучше понимал, каким образом ей удавалось в жизни противостоять, бороться с несправедливостью и бедностью, а то и нищетой. И побеждать.

Даже такая скверная ночь не стала для нее испытанием. Кровожадные москиты, жара, густая и тошнотворная из-за грязи в каналах, которую выворачивало судно на своем пути, хождение страдающих бессонницей пассажиров… Мать все терпеливо сносила, неподвижная и гордая на своем стуле, в то время как проститутки, разряженные в мужчин или мадридских красавиц, собирали карнавальный урожай в каютах. Одна из них входила и выходила, каждый раз с новым клиентом, совсем рядом со стулом моей матери. Я думал, мать ее не видит. Но когда девица зашла и вышла, поправляя платье, четвертый или пятый раз меньше чем за час, мать проводила ее сочувствующим взглядом до конца коридора.

– Бедные девочки, – тихо сказала она. – Что им приходится терпеть, чтобы хоть как-то заработать и выжить.

Так продолжалось до полуночи, когда я устал читать при невыносимой тряске и скудном свете из коридора и уселся покурить рядом с ней, пробуя воротиться на воду из зыбких песков округа Йокнапатофа. Я дезертировал из университета в предыдущий год, с отчаянной идеей прокормиться журналистикой и литературой, притом без обязательств учиться этим профессиям, воодушевленный фразой, которую, кажется, вычитал у Бернарда Шоу: «В раннем детстве мне пришлось прервать обучение, чтобы пойти в школу». Я не был способен обсуждать это ни с кем, чувствуя, что мои доводы представляют ценность лишь для меня самого. Попытки убедить моих родителей в подобном безумстве, когда они возлагали на меня столько надежд и потратили столько денег, которых у них вообще-то не было, было напрасной тратой времени. Особенно отца, который бы не простил мне того, что я бросил учебу и не повесил на стену какой-нибудь академический диплом, которого он в свое время не смог получить. Мы перестали общаться. Почти год до того как мать приехала с просьбой помочь ей продать дом, я все собирался поехать и все объяснить отцу. Мать не касалась этой темы до тех пор, пока мы не взошли на судно, где после полуночи она почувствовала, возможно, благодаря провидению или каким-то сверхъестественным водным силам, что наступил подходящий момент, и исподволь начала разговор о главном, наболевшем бессонными ночами.

– Твой отец очень расстроен, – сказала она.

Я почувствовал, что начинается ад для меня, хотя заговорила она обычным своим, в любых ситуациях невозмутимым голосом, словно только для того, чтобы исполнить ритуал. Как бы подыгрывая ей, потому что прекрасно знал ответ, я спросил:

– Почему же?

– Потому что ты бросил учебу.

– Этого я не говорил. Я лишь решил сменить карьеру.

Спор ее как будто вдохновлял.

– Отец говорит, что это равнозначно.

– Он сам бросил учебу, чтобы играть на скрипке, – сказал я.

– Это не то же самое, – живо возразила она. – На скрипке он играл лишь на праздниках. Да, он бросил учебу, но только потому, что не на что было жить. И меньше чем за месяц он освоил телеграф, а тогда это была очень хорошая специальность, особенно в Аракатаке.

– Я зарабатываю на жизнь тем, что пишу в газеты, – сказал я.

– Это ты говоришь, чтобы меня успокоить, – сказала она. – Увидев в книжном магазине, я тебя не узнала.

– Я тоже вас не узнал, – сказал я.

– Но по другой причине, – вздохнула она. – Я подумала, что ты – нищий попрошайка.

Она посмотрела на мои стоптанные сандалии и добавила:

– Даже без носков.

– Так удобней, – заверил я. – Две рубашки и двое трусов: одни надеты, другие сохнут. Что еще нужно?

– Немного достоинства, – сказала она, но тут же сменила тон: – Я говорю тебе это, потому что мы тебя очень любим.

– Я знаю, – сказал я. – Но скажите мне одну вещь, только честно: на моем месте вы не поступили бы точно так же?

– Я бы так не поступила, – сказала она, – если бы это было наперекор моим родителям.

Вспомнив, с каким упорством она сломила сопротивление родителей, чтобы выйти замуж, я со смехом сказал:

– Посмотрите мне в глаза.

Но она избегала моего взгляда, потому что слишком хорошо знала, о чем я думаю.

– Я не выходила замуж, пока не получила благословения родителей, – сказала она. – Силой, да, но я его получила.

Она прервала спор не потому, что мои аргументы ее убедили, а потому, что захотела в туалет, но сомневалась в его санитарной безупречности. Я спросил у шкипера, нет ли уборной почище, но он ответил, что и сам пользуется общим нужником. И заключил, будто продекламировал Конрада:

– В море мы все равны.

Мать удалилась, а вышла – вопреки моим опасениям, – едва сдерживая смех.

– Представь себе, – сказала она, – что подумает твой отец, если я вернусь из нашей поездки с дурной болезнью.

После полуночи мы опаздывали на три часа: водоросли и лианы намотались на лопасти, судно воткнулось в мангровые заросли, и нескольким пассажирам пришлось вытаскивать его с берега джутовыми веревками от гамаков. Жара и комары стали невыносимы, но мать как бы обманывала их своими мгновенными и бесконечными снами, которые позволяли ей отдыхать, не прерывая разговора. Когда наше путешествие возобновилось, подул легкий бриз, и она окончательно проснулась.

– В любом случае я должна буду дать ответ твоему отцу.

– Лучше не беспокойтесь, – предложил я невинно, – в декабре сам поеду и все объясню.

– Это еще десять месяцев, – сказала она.

– В конце концов, в этом году уже ничего нельзя исправить в университете.

– Ты обещаешь приехать?

– Обещаю, – сказал я. И впервые услышал беспокойство в ее голосе.

– Я могу передать твоему отцу, что ты скажешь «да»?

– Нет, – с трудом ответил я. – Это – нет.

Совершенно очевидно, что она искала какой-нибудь выход из положения. Но я не отозвался.

– Тогда лучше сразу сказать ему всю правду, – вздохнула она. – Лучше не обманывать.

– Хорошо, – произнес я с облегчением. – Скажите ему все, мама.

На этом мы остановились, и, может быть, тот, кто недостаточно ее знал, мог подумать, что на этом все и закончится, но я-то не сомневался, что это лишь передышка, чтобы набраться сил. Чуть позже она заснула крепким сном. Нежный бриз разогнал москитов и пропитал свежий воздух ароматом цветов. Судно своими очертаниями напоминало стройный парусник.

Мы плыли по Сьенага-Гранде, еще одному мифу моего детства. Я плавал по ней несколько раз, когда мой дед, полковник Николас Рикардо Маркес Мехиа, которого мы, внуки, звали Папалело, брал меня с собой из Аракатаки в Барранкилью проведать моих родителей.

– Сьенагу не надо бояться, ее надо уважать, – говорил он мне, имея в виду непредсказуемое настроение вод, которые могли вести себя и как тихий омут, и как неукротимый океан. В сезон дождей на нее влияли грозы с гор. С декабря по апрель, когда погода должна была быть спокойной, северные ветры нападали на нее с таким неистовством, что каждая ночь становилась настоящим приключением. Моя бабушка по матери, Транкилина Игуаран – Мина, после одного страшного путешествия, когда им до рассвета пришлось пережидать непогоду в устье Риофрио, отваживалась на плавание только в случаях крайней

необходимости.

Той ночью, к счастью, было спокойно. Из окон в носовой части судна, куда я незадолго перед рассветом вышел подышать свежим воздухом, огоньки рыбацких судов казались плавающими, как звезды в воде. Им было несть числа, и невидимые рыбаки переговаривались, как будто были рядом друг с другом, так как голоса на фоне воды отражались эхом. Я оперся о перила, пытаясь угадать профиль горной гряды, когда вдруг ощутил первый позыв ностальгии.

В одно прекрасное утро, похожее на это, когда мы пересекали Сьенага-Гранде, Папалело оставил меня спать в каюте и пошел в буфет. Не знаю, который был час, когда сквозь дребезжание ржавого вентилятора и перестук консервных банок меня разбудил шум толпы. Мне было лет пять, не больше, и я сильно испугался, но вскоре опять стало тихо, и я подумал, что это, наверное, был сон. Утром, уже на пристани в городке Сьенага, мой дед брился опасной бритвой перед зеркалом, висевшим на двери, которая была открыта. Воспоминание очень четкое: он был еще без рубашки, но на майку были надеты его вечные эластичные подтяжки, широкие, с зелеными полосами. Бреясь, он продолжал разговаривать с человеком, которого и сегодня я мог бы сразу узнать. У него был характерный вороний профиль; матросская татуировка на правой руке, на шее несколько цепей из тяжелого золота, а на обоих запястьях золотые браслеты. Я только что оделся и, сидя на койке, надевал сапоги, когда этот человек сказал моему деду:

– Не сомневайтесь, полковник. Они хотели бросить вас в воду.

Мой дед усмехнулся, не переставая бриться, и с присущим ему высокомерием ответил:

– Лучше бы и не пытались.

Тогда я понял, что прошедшей ночью случился какой-то скандал, и меня весьма впечатлило то, что кто-то мог бросить деда в воду. Воспоминание об этом эпизоде, так никогда и не проясненном, внезапно пришло ко мне этим ранним утром, когда я с матерью ехал продавать дом и обозревал синеву горных снегов, встречавших первые лучи солнца. Из-за задержки в канале мы смогли увидеть уже при свете дня сверкавшую песчаную отмель, едва разделявшую открытое море и лагуну, где были рыбацкие деревни, с сетями, развешанными сушиться

на берегу, с чумазыми детьми, игравшими в футбол тряпичным мячом. Поражало большое количество рыбаков с искалеченными руками – оттого, что не успели вовремя бросить шашку динамита. По ходу движения катера дети ныряли за монетами, которые кидали им пассажиры.

Было часов семь, когда мы бросили якорь в каком-то зловонном болоте недалеко от городка Сьенага. Бригады грузчиков по колено в грязи нас приняли на руки и отнесли, хлюпая по грязи, к пристани, в то время как над нами кружили стервятники, которые не могли поделить между собой плававшие в воде отбросы. Не спеша, за столиками прямо в порту, мы ели на ужин местную вкусную рыбку мохарру и жареные зеленые бананы, когда мать повела на меня новое наступление, продолжая свою персональную войну.

– Ну, скажи мне наконец, – сказала она, не поднимая глаза, – что мне ответить твоему отцу?

Я постарался выиграть время, чтобы подумать.

– По поводу чего?

– Того единственного, что его интересует, – сказала она в раздражении, – твоей учебы.

Мне повезло, что один наш беспардонный сотрапезник, заинтригованный горячностью диалога, захотел услышать мои доводы. Незамедлительная реакция матери меня не только немного испугала, но и удивила в ней, столь ревностно отнесшейся к своей частной жизни.

– Он хочет стать писателем, – выразительно пояснила она.

– Хороший писатель может зарабатывать хорошие деньги, – ответил мужчина серьезно, – особенно если он работает на правительство.

Не знаю, из осторожности ли моя мать свернула тему или опасаясь аргументов неожиданного собеседника, но все закончилось взаимными сочувствиями по поводу моего непонятного поколения и тоской по былому. Наконец, перебрав имена общих знакомых, они обнаружили, что мы являемся родственниками по

обеим линиям – семейств Котес и Игуаран. В те времена такое случалось с каждыми двумя из трех человек, которых мы встречали на Карибском побережье, но моя мать не уставала этому восхищаться, как чему-то необыкновенному.

На железнодорожную станцию мы поехали в одноконном экипаже, возможно, последнем представителе этого легендарного транспорта, который уже не встречается в других местах. Мать, погруженная в свои мысли, смотрела на сухую равнину, выжженную селитрой, которая, начинаясь от лагуны у порта, сливалась с линией горизонта. Для меня это было историческое место. Когда мне было года три или четыре, в мою первую поездку в Барранкилью, дед вел меня за руку через эту пустыню под палящим солнцем; он шел быстро, ничего мне не говоря, и вдруг мы очутились перед необъятным простором зеленых вод с пенными гребешками, которые мне показались целым миром утопленниц-кур.

– Это море, – сказал он мне.

Я спросил его разочарованно, что там, на другом берегу, и он ответил не раздумывая:

– Море безбрежно.

Сегодня, когда я повидал в жизни и исплавал вдоль и поперек столько морей, я по-прежнему считаю, что это был один из его великих ответов. Во всяком случае, никакие мои прежние представления не соответствовали этому грязному бесконечному пространству, названному морем, по селитряному берегу которого невозможно было ходить из-за гниющих зловонных остатков мангровых зарослей и ракушек. Это было ужасно.

Мать, должно быть, думала то же самое про море в Сьенаге, потому что, как только увидела его по левую сторону экипажа, вздохнула:

– Такого моря, как в Риоаче, больше нигде нет!

Тогда я и рассказал ей о своем воспоминании, о курах-утопленницах, и, как и любому взрослому, ей показалось, что это – детская галлюцинация. Она продолжала всматриваться в те места, что нам попадались по дороге, и я знал, что она думала о них, хотя молчала. Мы проехали мимо квартала борделей на

другой стороне железной дороги, с разноцветными домиками, покрытыми ржавыми крышами, и стариками попугаями из Парамарибо, которые, сидя на кольцах, подвешенных под навесами, зазывали клиентов по-португальски. Проехали мимо паровозного депо, с огромным железным сводом, где укрывались на время сна перелетные птицы и залетевшие чайки. Не въезжая, мы обогнули городок и увидели его широкие пустынные улицы и дома со следами былого шика, одноэтажные, с окнами из цельного стекла, где с утра до вечера повторяли гаммы на фортепьяно. Вдруг мать указала пальцем…

– Смотри, – сказала она. – Вон там был конец света.

Я взглянул в направлении ее указательного пальца и увидел станцию: деревянное облупившееся здание с цинковой двускатной крышей и балконами-галереями, и напротив – площадку без всякой растительности, на которой едва уместилось бы человек двести. Именно там, как сказала тогда мать, в 1928 году войска расстреляли так никогда и не установленное число поденщиков банановых плантаций. Я представлял это событие так, будто сам его пережил, помнил его с тех пор, как помнил себя – после того как он был рассказан и пересказан тысячу раз моим дедом: военный читает приказ, по которому бастующие поденщики объявляются шайкой преступников; три тысячи мужчин, женщин и детей продолжают стоять неподвижно под диким солнцем, после того как офицер им дал пять минут на то, чтобы освободить площадь; команда «Огонь!», треск очередей из раскаленных стволов, затравленная, охваченная паникой толпа, которую пядь за пядью методично разрезают ненасытные ножницы картечи.

Поезд прибывал в Сьенагу в девять утра, забирал пассажиров с пароходов и жителей горных деревень и четверть часа спустя отправлялся в глубь банановой зоны. Мы с матерью приехали на станцию в начале девятого, но поезд опаздывал. Тем не менее мы были единственными пассажирами. Она поняла это, как только вошла в пустой вагон, и сказала, оживившись:

– Какая роскошь! Весь поезд – для нас одних!

Мне и теперь кажется, что это была наигранная радость, чтобы скрыть разочарование, так как следы времени, сказавшиеся на состоянии вагонов, сразу бросались в глаза. Некогда это были вагоны второго класса, но уже без плетеных сидений и стекол на окнах, которые поднимались и опускались, а с деревянными скамьями, отполированными протертыми и линялыми штанами

бедняков. В сравнении с тем, что было в лучшие времена, наш вагон, как и весь поезд, казался призраком самого себя. Прежде у него были вагоны трех классов. В третьем, где ездили самые бедные, стояли ящики из досок, в которых перевозили бананы либо животных на убой, приспособленные для пассажиров с помощью продольных лавок из необработанного дерева. Второй класс отличался плетеными сиденьями и бронзовыми рамами. В первом классе, где ездили правительственные чиновники и руководство банановой компании, были ковры в проходе и богатые кресла красного бархата, угол наклона спинок которых можно было регулировать. Когда ехал управляющий компанией или его семья, или его почетные гости, к хвосту состава прицепляли вагон-люкс с солнцезащитными стеклами и позолоченными карнизами, и открытой террасой со столиками, за которыми можно было пить чай во время путешествия. Но я не знал ни одного смертного, который хотя бы раз видел изнутри эту сказочную карету. Мой дед дважды был алькальдом и к тому же легко относился к деньгам, но ездил во втором классе только в том случае, если с ним ехала какая-нибудь женщина нашей семьи. И когда его спрашивали, почему он ездит в третьем классе, он отвечал:

– Потому что нет четвертого.

Несмотря ни на что, с былых времен сохранилась феноменальная пунктуальность поезда. По его свистку в городках сверяли часы.

В тот день, неизвестно по какой причине, поезд отправился с полуторачасовой задержкой. Когда он тронулся, очень медленно, с каким-то замогильным скрежетом, мать перекрестилась, но сразу вернулась к действительности.

– В этом поезде масла в рессорах недостает, – сказала она.

Мы были единственными пассажирами, возможно, во всем поезде, и не было вокруг ничего, что могло привлечь мое внимание. Я вновь погрузился в дремотный «Свет в августе»[1 - Роман Уильяма Фолкнера. – Здесь и далее примеч. пер.] и курил без остановки, время от времени отрываясь от чтения, чтобы узнать места, которые мы проезжали. Миновав берег лагуны, поезд дал длинный гудок и на полной скорости ворвался в гулкий коридор между красными скалами, где грохот колес стал невыносимым. Но минут через пятнадцать он сбавил скорость, вполз, тихо сопя, в прохладную тень плантаций, и время уплотнилось, и морского бриза уже не чувствовалось. Мне не надо было прерывать чтения, чтобы понять, что мы погрузились в герметическое царство

банановой зоны.

Мир изменился. По обеим сторонам от железнодорожного полотна простирались симметричные и бесконечные проспекты, разрезавшие плантации, по которым шли тележки с волами, груженные зелеными гроздьями. То тут, то там появлялись, как инородное тело, невозделанные участки, на которых стояли бараки из красного кирпича, конторы с сетками от комаров и вентиляторами с большими лопастями, подвешенными к потолку, или одинокая больничка на маковом поле. У реки было много рукавов, на берегу каждого стояло свое селение со своим железным мостом, по которому поезд пробегал, бросая приветственный клич, и девушки, купавшиеся в ледяной воде, выпрыгивали, как русалки, смущая пассажиров мимолетным мельканием своих грудей.

В городке Риофрио на поезд село несколько семей индейцев аруаков с рюкзаками, полными горных авокадо, самых аппетитных во всей стране. Они вприпрыжку пробежали вагон туда и обратно, но когда поезд тронулся, в нашем вагоне остались лишь две белые женщины с новорожденным ребенком и молодой священник. Ребенок, не переставая, плакал всю остальную дорогу. На священнике были сапоги, пробковый шлем, сутана из грубого холста с квадратными, как паруса, заплатами; он разговаривал одновременно с женщинами и с плачущим ребенком – как будто с кафедры. Темой его проповеди было вероятное возвращение банановой компании. С тех пор как ее не стало, в банановой зоне ничего другого не обсуждали, некоторые желали ее возвращения, некоторые – нет, но и те и другие знали наверняка, чего ждать. Священник был против, и высказал он это с таким пылом, с таким личным участием, что женщины удивлялись.

– Компания опустошает все на своем пути!

Это единственное было оригинальным из всего того, что он сказал, но объяснить не смог, и женщина с ребенком усомнилась в том, что Бог с ним был согласен.

Как всегда, ностальгия, приукрашивая воспоминания, стирает все недоброе из памяти. Последствия этого ощущал на себе каждый. В окно вагона я видел мужчин, сидевших у порогов своих домов, и на их лицах было написано, чего они ждали. Прачки на селитряном берегу с такой же надеждой смотрели на проходящий поезд. Им чудилось, что каждый приезжий с «дипломатом» непременно должен быть работником «Юнайтед фрут компани». Она возвращалась, чтобы, в свою очередь, вернуть им прошлое. При каждой встрече,

в каждом разговоре, в письме рано или поздно звучала сакраментальная фраза: «Говорят, что компания возвращается». Никто не знал, кто, когда и в связи с чем это сказал, но сомнению это не подвергалось.

Моя мать была уверена, что ко всему относится спокойно, философски, но как только ее родители умерли, обрубила все связи с Аракатакой. Однако ее тревожили сны. По крайней мере те, которые она считала достойными пересказа близким за завтраком, – и они всегда были связаны с ее ностальгией по банановой зоне. Она пережила самые трудные времена, но не продавала дом, все надеясь, что жизнь наладится и что выручит за него раза в четыре больше, когда компания вернется. В конце концов ее одолел тяжкий груз реальности. Но теперь, услышав, как священник в поезде говорил, что компания вот-вот вернется, расстроилась и сказала мне на ухо:

– Жаль, что мы не можем подождать еще чуток, чтобы продать дом подороже.

Пока священник говорил, мы проехали мимо площади, где под палящим солнцем собралась толпа и оркестр играл веселую мелодию. Все эти городки мне всегда казались похожими друг на друга. Когда Папалело водил меня в новый кинотеатр «Олимпия» дона Антонио Даконте, я замечал, что станции в ковбойских фильмах были похожи на те, где останавливался наш поезд. Позднее, когда я стал читать Фолкнера, мне также казалось, что городки в его романах напоминают наши. И это неудивительно, так как они были построены в русле мессианства «Юнайтед фрут компани», в том же стиле – временного походного лагеря. Я вспоминал их, с неизменной церковью на площади и домиками, словно из сказок, покрашенными во все цвета радуги. Вспоминал бригады поющих под вечер черных поденщиков, бараки в усадьбах, у которых сидели пеоны, наблюдая за проходившими товарными и пассажирскими поездами, межи на полях тростника, где на рассвете находили мачетеро с отрубленной головой после субботней гулянки. Вспоминал частные города для гринго в Аракатаке и Севилье, на другой стороне железной дороги, окруженные металлической сеткой, как огромные электрифицированные птицефермы, которые в прохладные летние дни на рассвете казались черными от подгорелых тушек ласточек. Вспоминал их обильные лазурные луга с павлинами и перепелами, резиденции с красными крышами и окнами с решетками, и круглыми столиками со складными стульями, за которыми обедают на террасе, среди пальм и пыльных роз. Иногда за проволочным ограждением можно было увидеть красивых томных женщин в муслиновых платьях и больших газовых сомбреро, срезавших в своих садах цветы золотыми ножницами.

В детстве было нелегко отличить один городок от другого. Через двадцать лет это оказалось еще труднее, потому что на станционных фасадах уже не осталось табличек с идиллическими названиями – Тукуринка, Гуамачито, Неерландиа, Гуакамайяль, – и все они были в более удручающем виде, чем сохранила память. Около половины двенадцатого поезд прибыл в Севилью, где в течение пятнадцати нескончаемых минут предстояло поменять паровоз и заправиться водой. Тогда и наступила жара. Когда поезд снова отправился в путь, новый паровоз на каждом повороте пускал облако пыли, которая залетала в незастекленные окна и покрывала нас черным снегом. Мы и не заметили, как священник и женщины сошли на какой-то станции, и это усугубило мое ощущение, что мы с матерью ехали одни в ничейном поезде. Сидя напротив меня, глядя в окошко, она на ходу задремала два-три раза, но вдруг встряхнулась и снова будто бросила в меня вопрос, которого я боялся:

– Ну и что все-таки мне сказать твоему отцу?

Я понял, что она не успокоится и снова поведет атаку с целью сломить мое сопротивление. Чуть ранее она предложила мне несколько компромиссных вариантов, которые я отверг безо всяких аргументов, она вроде бы отступила, но я знал, что это ненадолго. И все равно новая попытка застала меня врасплох. Готовый к еще одной бесплодной битве, я ответил – уже спокойнее, чем в прошлые разы:

– Скажите ему, что единственное, чего я хочу в жизни, – это стать писателем, и я им стану.

– Он не против того, чтобы ты стал тем, кем ты хочешь стать, – сказала она, – если ты получишь хоть какое-то образование.

Она говорила, не глядя на меня, делая вид, что ее больше интересует жизнь за окном, чем наш диалог.

– Не знаю, почему вы так настаиваете, если прекрасно знаете, что я не сдамся, – сказал я.

Она посмотрела мне в глаза и чуть ли не заинтригованно спросила:

– Почему ты уверен, что я это знаю?

– Потому что мы с вами похожи, – ответил я.

Поезд сделал остановку на полустанке и спустя немного времени проехал мимо банановой усадьбы, на воротах которой было написано ее название: «Макондо». Это слово привлекло мое внимание еще во время первых поездок с дедом, но уже взрослым я обнаружил, что мне нравится его поэтическое звучание. Никогда ни от кого я не слышал это слово, не задавался вопросом, что оно означает. Я уже использовал его ранее в трех моих книгах как название вымышленного городка, когда случайно вычитал в одной энциклопедии, что это – название тропического дерева, типа хлопкового, которое не дает ни плодов, ни цветов, чья губчатая древесина используется для изготовления каноэ и чистки кухонной утвари. Позднее я обнаружил в Британской энциклопедии, что в Танганьике имеется кочевая народность маконде, и подумал, что слово могло прийти к нам оттуда. Но я так и не выяснил этого, не нашел и дерева, хотя много раз спрашивал о нем в банановой зоне, и никто не смог мне ничего об этом сказать. Может быть, его и не существовало вовсе.

В одиннадцать поезд проезжал Макондо и через десять минут делал остановку в Аракатаке. В тот день, когда мы с матерью ехали продавать дом, он пришел с полуторачасовым опозданием. Я был в туалете, когда поезд стал набирать скорость, и в разбитое окно влетел сухой обжигающий ветер, сопровождаемый грохотом старых вагонов и каким-то испуганным паровозным гудком. Я поспешно выскочил, движимый страхом, подобным тому, что ощущаешь при землетрясении, и увидел мать, невозмутимо сидевшую на своем месте, вслух перечислявшую названия мест, которые уносились назад, промелькнув мимо окна, как мгновенные вспышки жизни – той, что ушла и уже никогда не вернется.

– Эти участки продали отцу с идеей, что там есть золото, – сказала она.

С быстротой молнии пронесся дом магистров-адвентистов с его цветущим садом и надписью над входом по-английски: «Солнце светит для всех».

– Это первое, что я выучила на английском, – сказала мать.

– Не первое, – сказал ей я. – Единственное.

Пронесся бетонный мост и оросительный канал с мутной водой, куда гринго отвели рукав реки, чтобы использовать воду на своих плантациях.

– Квартал продажных женщин, где мужчины веселятся ночи напролет, танцуя кумбию, поджигая вместо свечей пачки денег, – сказала она.

Скамьи сквера, миндальные деревья, покрытые ржавчиной солнца, парк школы «Монтессори», где я научился читать. В окне предстала полная картина воскресного селения, сверкающего на февральском солнце.

– Станция! – воскликнула мать. – Как, должно быть, изменится мир, в котором уже никто не будет ждать поезда.

Локомотив перестал свистеть, замедлил ход и остановился с протяжным стоном. Первое, что обратило на себя внимание, – это тишина. Та вещественная тишина, которую не спутаешь ни с одной другой тишиной мира и узнаешь с закрытыми глазами. Густой зной вибрировал, и все вокруг виднелось будто через волнистое стекло. Никаких воспоминаний ни о том, как жили здесь люди, ни о том, что было скрыто под толстыми раскаленными слоями пыли, у меня не сохранилось. Мать еще посидела несколько минут на сиденье, глядя через окно на мертвые, пустынные улицы селения, и промолвила с ужасом:

– Боже мой!

Это было единственное, что она сказала, прежде чем сойти.

Пока поезд стоял, мы не казались себе одинокими. Но когда его вновь раскочегарили и он ушел, издав на прощание короткий душераздирающий свист, мы с матерью почувствовали какую-то адскую беззащитность и одиночество, будто все скорби брошенного селения навалились на нас. Мы подавленно молчали. В абсолютной тишине стояла старая деревянная станция с цинковой крышей, со сплошным балконом – словно тропическая версия тех, что мы знали по ковбойским фильмам. По растрескавшимся от проросшей травы плитам мы пересекли привокзальную площадь и окунулись в безнадежно-знойную безжизненность сиесты, ища спасения в тени миндальных деревьев. Я с детства маялся неприкаянностью в эти безжизненные сиесты, не зная, куда себе деть.

– Не мешай спать, – шептали взрослые сквозь сон, будто отгоняя надоедливых мух.

Магазины, конторы, школы, закрытые с полудня, открывали лишь к трем. Патио, в которых подвешивались гамаки, погружены были в спячку. В некоторых было настолько невыносимо душно и жарко, что люди выставляли табуреты на улицу и спали сидя в тени миндальных деревьев.

Открытыми оставались только гостиница напротив станции, буфет и бильярдный зал при ней, а также телеграф позади церкви. Постепенно память оживала, но все казалось меньше, чем когда-то, жалким, со следами неумолимого рока. Изъеденные жуком дома, дырявые ржавые крыши, скверы с остатками гранитных скамеек, печальные миндальные деревья. По другую сторону железной дороги поросший кустарником пустырь, уже без пальм, электрических столбов, с разрушенными домами между мальвами и остовом сгоревшей больницы, – все было покрыто толстым слоем пыли и в обжигающем кожу жаре плавало, точно мираж. Ничто, ни сломанная дверь, ни трещина в стене, ни следы какого-то человека, не ускользало от меня. Мать своим легким шагом шла справа, чуть потея в своем траурном платье, храня молчание, и лишь мертвенная бледность и заостренный профиль выдавали, что у нее происходит внутри. Первого человека мы увидели в конце аллеи, это была низенькая женщина нищенского вида, появившаяся на углу Хакобо Беракаса и направившаяся в нашу сторону с котелком, плохо закрытая крышка которого позвякивала в ритме ее шагов. Мать прошептала, не глядя на нее:

– Это Вита.

Я узнал ее. Когда я был маленьким, она работала у моих деда с бабушкой, и если бы она удосужилась посмотреть на нас, то наверняка узнала бы нас, хотя мы, конечно, изменились. Но она будто перемещалась в ином мире. Я и сегодня задаюсь вопросом: умерла ли Вита много позже того дня?..

Когда мы завернули за угол, пыль обожгла мне ноги через плетеные сандалии. Невыносимо тягостным стало чувство собственной беспомощности. Я вдруг увидел нас с матерью как бы со стороны, как когда-то в детстве увидел мать и сестру вора, за неделю до того пытавшегося взломать дверь и убитого Марией Консуэгрой.

В три часа ночи она проснулась, услышав, что дверь ее дома пытаются взломать с улицы. Не зажигая свет, она поднялась, на ощупь нашла в платяном шкафу старый револьвер, из которого не стреляли с Тысячедневной войны, определила в темноте, где находится дверь, на какой высоте замок, навела оружие двумя руками и, зажмурившись, нажала на гашетку. До этого она не стреляла ни разу в жизни, но пуля через дверь попала точно в цель.

Это был первый мертвец в моей жизни. Когда в шесть часов утра я шел в школу, то по дороге увидел лежащее в подсыхающей луже крови тело мужчины со спитым лицом, с пулей, размозжившей нос и вышедшей через ухо. Он был в тельняшке с цветными полосами, в простых штанах, подвязанных веревкой из агавы вместо пояса, босой. Рядом на земле лежала самодельная отмычка, которой он пытался открыть дверь.

В дом Марии Консуэгры пришли наиболее авторитетные жители селения, чтобы выразить сочувствие. Той ночью я был там с Папалело, мы увидели Марию сидящей в кресле из Манилы, сплетенном из ивовых ветвей, которое казалось огромным павлиньим хвостом, в эпицентре внимания слушавших в тысячный уже, должно быть, раз рассказываемую ею историю. Все понимали, что она выстрелила из страха. Моя бабушка спросила, не слышала ли Мария чего-нибудь после выстрела, и та ответила, что сначала наступила полная тишина, потом послышался звук падающей на бетонный пол отмычки и затем сдавленный стон: «Ай, мамочки!» Должно быть, Мария Консуэгра не вспоминала тот страшный стон до тех пор, пока бабушка не задала вопрос. Только тогда она разрыдалась.

Это произошло в понедельник. Во вторник на следующей неделе во время сиесты я играл в юлу с Луисом Кармело Корреой, моим лучшим другом детства, когда взрослые проснулись раньше положенного часа и высунулись в окна. По пустынной улице шла женщина в траурном платье с девочкой лет двенадцати, которая несла букет увядших цветов, завернутых в газету. От палящего солнца они прикрывались черными зонтами, не обращая никакого внимания на уставившихся на них людей. Это были мать и сестра убитого вора, несшие цветы на его могилу.

И эта картина, проходившие по пустынной улице под многочисленными взглядами женщина и девочка, долго стояла у меня перед глазами. Но я не осознавал всей их драмы, пока не приехал с матерью, чтобы продать дом, и не прошел по той же улице в такой же мертвый час.

– Ощущаю себя вором, – сказал я.

Мать не поняла меня. Более того, когда мы проходили мимо, она даже не взглянула на дверь дома Марии Консуэгры с деревянной заплатой в том месте, где ее пробила пуля. Много лет спустя, вспоминая ту нашу поездку, я выяснил, что она, конечно, все помнила, но готова была продать душу за то, чтобы многое забыть. Это стало еще более очевидно, когда мы проходили мимо дома, где жил дон Эмилио, более известный как Белга, ветеран Первой мировой войны, потерявший обе ноги на минном поле в Нормандии и однажды в воскресенье на Троицу, надышавшись цианида золота, беспрепятственно пустился вдаль памяти. Мне было не больше шести, но я очень хорошо запомнил тот переполох, который в шесть утра вызвало известие о его смерти. И вот теперь, когда мы приехали с матерью, чтобы продать дом, она будто нарушила обет двадцатилетнего молчания.

– Бедный Белга, – вздохнула она. – Как ты говорил: «Он никогда больше не будет играть в шахматы».

Мы должны были идти прямо к дому. Но когда почти подошли, мать внезапно остановилась, повернулась и пошла обратно, чтобы свернуть за угол, не доходя до нашего квартала.

– Давай лучше здесь пройдем, – сказала мне она. И в ответ на мой удивленный взгляд пояснила: – Потому что мне страшно.

Да и меня обуял страх, притом не только перед призраками прошлого, но вполне реальный, до тошноты. Мы пошли по улице, параллельной той, где стоял наш дом, чтобы его не увидеть.

– Я боялась на него смотреть, пока не поговорю хоть с кем-то, – скажет мне потом мать.

Еле волоча ноги, я без всякой цели вошел в угловой дом, где была аптека доктора Альфредо Барбосы, менее чем в ста шагах от нашего.

Адриана Бердуго, жена доктора, в тот момент шила на своем допотопном «Доместике» с механической ручкой, была так увлечена, что не заметила, как мать подошла и сказала ей полушепотом:

– Как поживаешь, кума?

Адриана подняла рассеянный взгляд и посмотрела сквозь толстые линзы для дальнозоркости, сняла их, заколебалась на мгновение и вскочила с открытыми объятиями и стоном:

– Ой, кумушка!

Мать зашла за прилавок, они обнялись и заплакали.

Стоя по другую сторону прилавка, я молча смотрел на них с ощущением, что эти их молчаливые слезы сыграют крайне важную роль и в моей судьбе. Когда-то, еще во времена банановой компании, аптека процветала, но теперь открытые полки были почти пусты, осталось лишь небольшое количество фаянсовых пузырьков, надписанных золотыми буквами. Швейная машинка, аптекарские весы, кадуцей, еще живые часы с маятником, кусок линолеума с клятвой Гиппократа, сломанные деревянные лопатки – все было так, как я запомнил в детстве, только тронутое ржавчиной времени. Не пощадило время и саму Адриану. Несмотря на то что носила она, как и раньше, платье с крупными тропическими цветами, в ней не было уже прежних задора и озорства, отличавших ее всю жизнь. Единственное, что осталось неизменным, так это запах валерианы, от которого бесились коты и который потом я вспоминал всю последующую жизнь как свидетельство крушения прошлого. Когда моя Адриана и моя мать выплакали все слезы, в подсобном помещении послышался отрывистый сухой кашель. Адриана, к которой неожиданно вернулась толика былой привлекательности, громко, чтобы услышали за перегородкой, сказала:

– Доктор, догадайтесь, кто здесь?

Шершавый суровый мужской голос спросил из-за перегородки без всякого интереса:

– Ну и кто?

Адриана ничего не ответила, жестом предложив нам войти в подсобку.

Детский ужас внезапно парализовал меня, пыльная слюна встала комом в горе, но я вошел с матерью в пеструю комнатушку, которая раньше была аптечной лабораторией, но на всякий случай могла служить и спальней. Там находился доктор Альфредо Барбоса, более старый, чем кто бы то ни было на земле, будь то люди или животные. Он лежал лицом вверх, в своем вечном гамаке, без башмаков, в легендарной пижаме из грубого хлопка, больше походившей на рясу священника. Он глядел в потолок, но когда услышал, как мы вошли, уставился на мать своими прозрачными желтыми глазами и смотрел, пока не узнал ее.

– Луиса Сантьяга! – воскликнул он.

Присев в гамаке с усталостью старой мебели, смягчившись, он поприветствовал нас быстрым пожатием своей горячей руки. На мой вопросительный взгляд он ответил:

– Да, уже год меня лихорадит.

Затем слез из гамака, сел на кровать и произнес с протяжным вздохом:

– Вы даже не можете себе представить, что произошло в этом селении.

Эта единственная его фраза резюмировала целую жизнь одинокого печального старика. Он был высок и необыкновенно тощ, с красивой металлически-жесткой седой шевелюрой, подстриженной по какой-то моде, и напряженными желтыми глазами, представлявшими один из кошмаров моего детства. Вечерами, возвращаясь из школы, ведомые каким-то мистическим страхом, мы поднимались, чтобы заглянуть в его окно. Лежа в гамаке, он резко раскачивался, чтобы обдувало подобие прохлады. Наша игра заключалась в том, чтобы не отрываясь смотреть на него до тех пор, пока он не почувствует и сам не уставится на нас своими желтыми глазами.

В первый раз я увидел его в пять или шесть лет, однажды утром, когда со школьными друзьями пробрался в патио его дома, чтобы нарвать огромные манго с его деревьев. Вдруг открылась дверь дощатой уборной, стоявшей в углу двора, и вышел он, на ходу завязывая полотняные штаны. Я смотрел на него, как на пришельца из другого мира, в белой больничной рубахе, бледного и костлявого, с желтыми глазами какой-то адовой собаки. Мои друзья удрали

через проломы в ограде, а я все стоял, окаменев под его неподвижным взглядом. Увидев только что сорванные манго, он протянул руку.

– Отдавай! – велел он. И посмотрел так, будто хотел сжечь меня желтым огнем глаз, при этом встав в позу, выражавшую полную брезгливость. – Ничтожный дворовый ворюга!

Насмерть перепуганный, я положил манго к его ногам и поспешно скрылся.

Он стал моим личным призраком. Когда я шел один, то делал большой круг, чтобы не проходить мимо его дома. Если шел со взрослыми, то едва осмеливался бросить беглый взгляд на аптеку. Я видел Адриану, словно прикованную к своей старой швейной машинке, за прилавком, и видел его, резко раскачивающегося в гамаке, и даже от этого беглого взгляда волосы вставали дыбом.

Он приехал в селение в начале века с огромной группой венесуэльцев, бежавших за границу от свирепого деспотизма Хуана Винсенте Гомеса. И стал одним из первых пострадавших от двух зол: от жестокости диктатора своей страны и иллюзорного бананового процветания нашей. При всей внешней суровости с самого приезда он зарекомендовал себя опытным и отзывчивым врачом. Он часто заходил в гости к моим деду с бабушкой, которые всегда накрывали стол на случай неожиданного приезда кого-нибудь. Моя мать была крестной матерью его старшего сына, а мой дед ставил его на крыло, как говорится. Я вырос среди эмигрантов-венесуэльцев, как потом жил среди беженцев от гражданской войны в Испании. И теперь, пока мы с матерью слушали рассказ о трагедии селения, улетучились последние следы детских страхов. Он прекрасно все помнил, и каждая вещь, о которой рассказывал, становилась зримой в этой комнате, затопленной зноем. Началом несчастий, очевидно, стал расстрел рабочих, хотя так и не было установлено, сколько там убитых, трое или три тысячи. Он сказал, что, возможно, их и не было так много, но каждый трактовал события, руководствуясь собственной болью. И потом компания ушла навсегда.

– Гринго никогда не возвращаются, – заключил он.

Казалось, что, уходя, они унесли с собой все: деньги, декабрьский бриз, ножи для резки хлеба, гром в три часа пополудни, запах жасминов, любовь. Остались лишь покрытые пылью миндальные деревья, пустынные гулкие улицы,

деревянные дома с проржавевшими крышами и населяющими их молчаливыми людьми, живущими воспоминаниями. В этот раз доктор обратил на меня внимание, когда увидел, как я удивлен странному треску на крыше, похожему на шум дождя.

– Это грифы-индейки, – сказал он мне. – Они целыми днями разгуливают по крышам.

Затем, указав вялым указательным пальцем на закрытую дверь, добавил:

– Но ночью хуже, потому что слышишь мертвых, которые разгуливают по этим улицам.

Он пригласил нас позавтракать, и мы согласились, потому что было время для того, чтобы уладить дела с продажей дома, тем более что детали сделки можно было согласовывать и по телеграфу.

– У вас времени более чем достаточно, – сказала Адриана. – Теперь неизвестно, когда поезд пойдет обратно.

Так что мы разделили с ними креольскую трапезу, простота которой была не столько признаком бедности, сколько самоограничения, которое доктор всю свою жизнь практиковал и проповедовал. Вкус супа пробудил во мне массу воспоминаний из детства, которые множились и все более оживали с каждой ложкой. Слушая доктора, я как бы возвращался в тот возраст, в каком был, когда дразнил его через окно, и смутился, как только он обратился ко мне с тем же серьезным и располагающим тоном, в каком говорил с моей матерью. В раннем детстве мое смущение и растерянность иногда скрывались за беспрерывным морганием. И вот теперь под взглядом доктора ко мне вернулся тот детский рефлекс. Жара стала невыносимой. Я на какое-то время утратил нить беседы, пытаясь самому себе ответить на вопрос: каким же образом столь дружелюбный милый старик сделался ужасом моего детства?.. Вдруг, договорив какую-то длинную фразу и помолчав, он взглянул на меня с дедушкиной улыбкой.

– Значит, ты стал совсем взрослым, Габито, – сказал мне он. – Что изучаешь?

Я на свою учебу напустил тумана: мол, полный бакалавриат, вдобавок подкрепленный интернатурой, целых два с лишним года изучения

юриспруденции, да плюс реальная журналистика. Выслушав меня, мать обратилась к доктору за поддержкой.

– Вы представляете, кум, – сказала она, – он хочет стать писателем.

Глаза доктора сверкнули.

– Как это здорово, кума! – воскликнул он. – Это же подарок небес!

И обратился ко мне:

– Поэзия?

– Роман и рассказ, – сказал я ему, обомлев.

Но он явно воодушевился:

– Читал «Дона Барбару»?

– Разумеется, – ответил я, – и почти все остальное Ромуло Гальегоса.

Будто воскреснув от внезапного энтузиазма, он рассказал нам, как познакомился с ним на конференции в Маракаибо, где тот выступал, и он показался доктору достойным своих книг. Честно говоря, когда я лежал с лихорадкой и температурой сорок, увлеченный сагами Миссисипи, в местных романах я находил значительные швы. Но общение с доктором, представлявшим кошмар моего детства, было теперь настолько задушевным, что я предпочел присоединиться к его энтузиазму. Я поведал ему о «Жирафе» – моих ежедневных заметках в «Эль Эральдо» – и поделился мечтами о выпуске своего журнала, на который мы с друзьями возлагали большие надежды. Я подробно изложил, как мы себе все представляем, перечислил будущие рубрики и сообщил название: «Хроника». Пристально окинув меня взглядом с головы до ног, он сказал:

– Не знаю, как ты пишешь, но рассказываешь уже как писатель.

Мать поспешно объяснила, что никто не против моего писательства, но при условии, если я получу надежное академическое образование, которое обеспечило бы мне твердую почву под ногами. Доктор не придал особого значения ее словам и продолжил рассуждать о карьере писателя. Оказалось, он тоже хотел стать писателем, но те же аргументы, что привела только что моя мать, вынудили его выучиться медицине, когда родители не сумели сделать из него военного.

– Поэтому, кума, еще подумайте, – сказал он. – Вот я врач у вас здесь, но никто не знает, сколько моих пациентов скончалось по воле Господа, а сколько от моего лечения.

Мать не сразу нашла что ответить.

– Дело в том, что он бросил изучать право, – сказала она, – после стольких жертв, которые мы принесли, чтобы его поддерживать.

Доктору же, наоборот, это показалось свидетельством моего призвания, что в конечном счете и стоит принимать в расчет и пестовать. Особенно призвание художественное, самое непостижимое из всех, требующее полной отдачи и не обещающее ничего взамен.

– Говорю как врач, – сказал он, – каждый появляется на свет с каким-то своим предназначением, а противиться природе – хуже всего для здоровья. – И добавил с заговорщицкой улыбкой убежденного масона: – Стало быть, призвание само по себе целебно?

Я был покорен формой, в которую он облек то, что я никак не мог объяснить. Мать видела, насколько я околдован, и ей ничего не оставалось, как сдаться на милость судьбы.

– Хорошо, но чем это объяснить твоему отцу? – спросила она меня.

– Лишь тем, что мы только что услышали, – сказал ей я.

– Боюсь, не подействует, – усомнилась она. Но, помолчав, заверила: – Но ладно, не волнуйся, я найду для этого подходящий способ.

Не знаю, что она имела в виду, но на этом наш спор завершился. Часы, будто капли по стеклу, пробили час дня. Мать спохватилась:

– Господи, я и забыла, зачем мы сюда приехали! – И встала из-за стола: – Нам нужно идти.

Первое впечатление от дома, стоявшего на соседней улице, не имело ничего общего с моими ностальгическими воспоминаниями. Оба старых миндальных дерева, стоявших при входе, как часовые, и служивших безошибочным опознавательным знаком, были срублены под корень, и дом выглядел беззащитным под открытым небом. То, что осталось на палящем солнце – около тридцати метров фасада, черепичная крыша, а половина из не струганных досок, – делало его похожим на игрушечный домик. Мать сначала очень робко позвонила в закрытую дверь, потом чуть смелее, – и спросила в окно:

– Тут есть кто-нибудь?

Дверь медленно приоткрылась, и какая-то женщина осведомилась из полумрака:

– Что вы предлагаете?

Мать ответила с достоинством, возможно, бессознательным:

– Я Луиса Маркес.

Дверь открылась, и женщина в трауре, костлявая и бледная, взглянула на нас, будто из потустороннего мира. В глубине зала виднелся пожилой мужчина, раскачивавшийся в инвалидном кресле. Это были жильцы, которые после нескольких лет аренды предложили выкупить дом, но и они сами не были похожи на покупателей, и дом не был в таком состоянии, чтобы хоть кого-то заинтересовать. В телеграмме, которую получила мать, говорилось, что жильцы согласились половину оговоренной суммы внести наличными, а оставшееся – до конца года с учетом банковских процентов, но никто не вспомнил о том, что договаривались, что мать приедет именно сейчас. В результате долгого разговора, будто глухих, стало ясно, что четкого соглашения вообще не было. Угнетенная бессмысленным пререканием и умопомрачительной жарой, вся в поту, мать огляделась по сторонам и промолвила со вздохом:

– Этот несчастный дом уже сам при смерти.

– Более того, – сказал мужчина. – Трудно даже себе представить, сколько надо будет потратить, чтобы хоть как-то его отремонтировать.

У них имелся список незавершенных ремонтных работ, предусмотренных договором аренды, притом настолько длинный, что получалось, будто не они нам, а мы сами им уже должны деньги. Мать, у которой глаза были на мокром месте, на этот раз держалась стойко, демонстрируя недюжинную выдержку перед ударами судьбы. Она активно возражала, я же участия в споре не принимал, с первого же аргумента поняв, что на уме у покупателей. В телеграмме не указывались время и способ продажи, лишь говорилось о том, что это предстоит согласовать. И это было вполне в духе нашего семейства. Я сразу представил, как принималось решение – должно быть, за столом во время завтрака и в то же мгновение, как получили телеграмму. А не считая меня, было еще десять братьев и сестер с одинаковыми правами на наследство. В результате мать наскребла несколько песо, собрала свой школьный чемодан и, имея лишь деньги на обратный билет, отправилась заключать сделку.

Спор возобновился, и через полчаса мы пришли к выводу, что никакой сделки не будет. Кроме всего прочего, вспомнили еще и ипотеку, висевшую на доме тяжким грузом и тогда, когда продажа казалась уже верной. Жильцы пустились по новому кругу, приводя свои непреложные аргументы, но мать их прервала и вдруг заявила своим не терпящим возражений тоном:

– Так, хорошо, дом не продается. Мы пришли к выводу, что раз уж здесь родились, то здесь все и умрем.

Остаток вечера в ожидании поезда в обратную сторону мы провели, обмениваясь ностальгическими воспоминаниями о доме. Не считая арендуемой части, выходившей на улицу, где некогда размещались дедовские мастерские, все остальное было призраком с оболочкой из источенных перегородок и проржавевших крыш, отданных на милость ящерицам. Застыв у порога, мать простонала:

– Это не тот дом.

Но не объяснила, что имела в виду. В течение всего моего детства она описывала три разных дома, менявшихся в зависимости от того, кому она о них рассказывала. Первоначально, согласно и рассказам бабушки в ее специфичной уничижительной манере, это было нечто вроде индейского ранчо. Второй дом, построенный дедом и бабушкой, был мазанкой с крышей из пальмовых листьев и широким, хорошо освещенным входом, веселой раскраски террасой-столовой, двумя спальнями и просторным патио с гигантским каштаном, аккуратным огородом и коралем, где мирно жили свиньи, козлята и куры. Согласно самой распространенной версии, тот дом был обращен в пепел ракетой-петардой, упавшей на пальмовую кровлю во время празднования 20 июля Дня независимости неизвестно, в каком году. От него остались лишь бетонные полы и пара каменных блоков с дверью, ведущей на улицу, в той части, где располагался офис Папалело, когда он был служащим.

На еще неостывшем обгоревшем строительном мусоре семья возвела для себя окончательное жилище. Это был дом с вытянувшимися в линию восемью комнатами, примыкавшими друг к дружке, и длинной галереей с оградой из бегоний, где, наслаждаясь вечерней прохладой, коротали время женщины за вышиванием на пяльцах и неспешной беседой. Комнаты были просто обставлены, почти не различались между собой, но мне достаточно было беглого взгляда, чтобы осознать, что с каждой из них связан какой-то очень важный, а то и переломный момент моей жизни.

Первая комната служила гостиной и личным кабинетом дедушки. Там стояли письменный стол, вращающееся кресло на рессорах, электрический вентилятор и пустой книжный шкаф с одной лишь книгой, огромным распотрошенным словарем. Следом шла ювелирная мастерская, где дед проводил свои лучшие часы, изготавливая изящных золотых рыбок с крохотными изумрудными глазками, больше для удовольствия, чем на продажу. Там собирались примечательные персонажи, в основном бывшие государственные деятели, ветераны войн. Среди них – по крайней мере две исторические личности: генералы Рафаэль Урибе Урибе и Бенхамин Эррера, которые обедали вместе с семьей. Однако же единственное, что сохранилось в памяти моей бабушки на всю оставшуюся жизнь от посещений Урибе Урибе, была его воздержанность за столом:

– Он клевал, как птичка.

В доме существовало два мира – мужской и женский. Объединенное пространство кабинета и мастерской, по нашим карибским законам, было запретно для женщин, точно так же, как и деревенские таверны. Однако со временем оно превратилось в больничную палату, где умерла тетушка Петра и несколько месяцев страдала от тяжелой болезни Венефрида Маркес, сестра Папалело. За кабинетом и мастерской начинался закрытый женский рай, в котором жили многочисленные родственницы и знакомые, просто приезжие, останавливавшиеся у нас в доме. Я был единственным существом мужского пола, вхожим в оба мира.

Столовая была расширенным продолжением коридора с крытой галереей, где женщины садились шить, и столом на шестнадцать человек, членов семьи и приезжих на полуденном поезде. С замершим сердцем мать молча смотрела из бывшей столовой на осколки горшков бегоний, сгнившие кустарники и ствол жасмина, источенный термитами.

– Порой невозможно было дышать из-за жаркого аромата жасмина, – вздохнув, сказала она, глядя в широкое, затянутое густым маревом небо. – Но чего мне больше всего не хватает, так это грома в три часа пополудни.

Я помнил, как страшный треск, подобный камнепаду, разбудил нас во время сиесты, но никогда не отдавал себе отчета в том, что это было именно в три часа.

После столовой располагалась гостиная, предназначенная для особых случаев, так как повседневные визитеры, если это были мужчины, принимались с ледяным пивом в кабинете, а если это были женщины – в галерее. Затем начинался нескончаемый и загадочный мир спален. Первая – деда и бабушки, с большой дверью в патио с резными деревянными орнаментами цветов и датой постройки дома: «1925». Там без всякого предупреждения, но с триумфальным выражением лица мать преподнесла мне вовсе неожиданный сюрприз.

– А вот здесь ты родился, – сказала она.

Прежде я этого не знал или забыл, но в следующей комнате мы обнаружили колыбель, в которой я спал до четырех лет и которую бабушка сохранила навсегда. Я не думал о ней с детства, но едва увидел, вспомнил себя самого ревущим во весь голос, чтобы кто-нибудь пришел и избавил меня от какашек,

которые я напустил в новенькую пижаму с голубыми цветочками, которую впервые тогда надел. Рыдая, я едва удерживался на ногах, хватаясь за стенку колыбели, маленькой и хрупкой, точно корзинка Моисея. Тот случай долго был поводом для споров и шуток родителей и друзей, которым причина моего огорчения, на которой я настаивал, а именно испачканная новенькая пижама, казалась уж слишком прагматичной для столь раннего возраста. Но рыдания мои действительно были в гораздо большей степени обусловлены эстетикой, чем гигиеной, и, судя по форме, в которой сохранилось в моей памяти то переживание, это было моим первым писательским впечатлением.

В той спальне стоял также алтарь со святыми в человеческий рост, более живыми и зловещими, как мне казалось, чем даже в церкви. Там спала тетя Франсиска Симодосеа Мехиа, двоюродная сестра дедушки, которую мы звали Мамой, она жила в нашем доме с тех пор, как умерли ее родители. Иногда и я спал в гамаке при мерцании лампад святых, которые не угасали до чьей-нибудь смерти, и порой там спала в одиночестве моя мать, измученная властью святых над всей своей жизнью. В глубине галереи были расположены две комнаты, входить в которые не разрешалось и мне. В первой жила моя двоюродная сестра Сара Эмилия Маркес, добрачная дочь моего дяди Хуана де Дьоса, воспитанная дедом и бабушкой. С раннего детства казавшаяся мне какой-то сверхъестественной и чрезвычайно волевой женщиной, это она впервые пробудила во мне страсть к писательству своим необыкновенным собранием сказок Кальехо с дивными иллюстрациями, которое в руки мне никогда не давалось из предосторожности, что я мог от восторга книгу и порвать. И последнее стало первым моим горьким писательским разочарованием.

В дальней комнате был склад всякой рухляди и отслуживших свой век чемоданов, которые в течение долгих лет привлекали мое любопытство, но исследовать их содержимое мне не позволялось. Позже я узнал, что там находилось семьдесят ночных ваз, горшков, которые купили бабушка с дедушкой, когда моя мать пригласила своих товарок с курса провести каникулы в нашем доме.

Перед этими двумя комнатами, в той же галерее, была большая кухня с простой печью из обожженного камня и большой духовкой, на которой бабушкой, пекарем и профессиональным кондитером, выпекались всякие сладости, например, различные зверьки из карамели, своим аппетитным ароматом насыщавшие рассветы. Она была, конечно, королевой женщин, которые жили или прислуживали в доме, и подпевали ей, помогая в многочисленных радениях.

Временами вплетался в этот многоголосый хор и голос Лоренцо Великолепного, столетнего попугая, унаследованного от прадедушки и прабабушки, который выкрикивал антииспанские лозунги и пел песни Войны за независимость. Он был настолько близорук, что упал в котелок, где варилась пища, и чудом спасся, потому что вода только начала нагреваться. 20 июля, в три часа пополудни, он переполошил дом паническими криками:

– Бык, бык! Пришел бык!

В доме находились только женщины, потому что мужчины ушли на празднества, и решено было, что крики попугая – не более чем маразматический бред. И лишь те женщины, которые умели с ним разговаривать, поняли, что он кричал не напрасно: дикий бык, удравший из загона на площади, с ревом парохода в слепой ярости вломился на кухню и стал крушить кухонную мебель и многочисленные горшки на полках и плите. Когда я входил в дом, меня встретила буря до смерти перепуганных женщин, которые схватили меня на руки и заперлись вместе со мной в кладовой. Мычание быка на кухне и могутные удары его копыт по бетонному полу коридора сотрясали весь дом. Вдруг он показался в вентиляционном отверстии, и от его пламенного сопения и налитых кровью глаз кровь застыла у меня в жилах. Когда пикадорам удалось-таки совладать с ним и уволочь обратно в загон, в доме началось гулянье, продолжавшееся более недели, с нескончаемыми чашками кофе и праздничными пирогами, с рассказами возбужденных очевидцев, с каждым разом приобретавшими все более героический оттенок.

Патио казался не очень большим, но в нем помещалось много разных деревьев, общая баня без крыши, с бетонным резервуаром для сбора дождевой воды и полками, на которые забирались по трехметровой шаткой лестнице. Еще там стояли большие бочки, которые дед по утрам наполнял при помощи ручного насоса. В патио помещалась также конюшня из массивных необструганных досок и подсобные помещения, в глубине – фруктовый сад и одна-единственная уборная, куда слуги-индейцы опорожняли по утрам ночные горшки из дома.

Но самым роскошным растением был каштан, возвышавшийся на краю мира и времени, под библейскими листьями коего обречены были скончаться, обмочившись, не менее двух отставных полковников гражданских войн прошлого века.

Семья приехала в Аракатаку за семнадцать лет до моего рождения, когда «Юнайтед фрут компани» начала всеми правдами и неправдами бороться за банановую монополию. Дед с бабушкой привезли с собой своего двадцатиоднолетнего сына Хуана де Дьоса и двух дочерей, девятнадцатилетнюю Маргариту Марию Минниату де Алакоке и Луису Сантьягу, мою будущую мать, которой было тогда пять лет. До нее они потеряли близнецов в результате выкидыша на четвертом месяце беременности. Когда на свет появилась моя мать, бабушка объявила всем: лавочка закрывается и это были последние роды, так как ей исполнилось уже сорок два года. Без малого полвека спустя, в том же возрасте и при подобных обстоятельствах, моя мать сказала то же самое, когда родила Элихио Габриэля, своего одиннадцатого ребенка. Переезд в Аракатаку для бабушки и особенно деда был чем-то сродни перемещению в Лету, реку Забвения. С собой они привезли двух своих слуг, индейцев гуахиро – Алино и Аполинара – и индианку Меме, которых купили в их родных местах по сто песо за каждого, когда рабство уже было отменено. Полковник привез с собой все необходимое, чтобы воссоздать прошлое, но как можно менее напоминающее ему это прошлое, пронизанное угрызениями совести по поводу того, что убил человека на дуэли. Он хорошо знал этот район еще со времен войны, когда прошел на Сьенагу, чтобы в качестве генерал-интенданта присутствовать при подписании Неерландского договора о перемирии.

Новый дом не вселил в них душевного спокойствия, ибо угрызения совести были настолько сильны, что могли сказаться и через много поколений на далеком потомке. Наиболее достоверные воспоминания, на которых мы все основывали семейную версию, принадлежали бабушке Мине, уже совсем слепой и наполовину выжившей из ума. Однако она была единственной в море беспощадной молвы, которая не распускала слухи о дуэли до того, как она произошла на самом деле.

Трагедия произошла в Барранкасе, процветающем мирном селении в отрогах Сьерры-Невады, где полковник научился у своего отца и деда ремеслу ювелира и куда воротился, когда был подписан мирный договор. Противник его был высоченного роста, на шестнадцать лет младше, так же, как и дед, до мозга костей либерал, убежденный католик, небогатый землевладелец, недавно женившийся, с двумя сыновьями и с именем порядочного человека: Медардо Пачеко. Самым печальным в том случае для полковника оказалось то, что это не был один из многочисленных безымянных противников, с которыми приходилось драться на полях сражений, но старый и верный друг, соратник-солдат Тысячедневной войны, с которым ему пришлось схлестнуться насмерть уже

тогда, когда оба по-настоящему поверили в наступивший мир.

И это был первый случай в реальной жизни, который по-настоящему пробудил во мне писательские инстинкты, от которых я не избавился и по сей день. С тех пор как я достиг сознательного возраста, я понимал, насколько важную роль в истории нашей семьи сыграла трагедия, но детали ее оставались в тумане. Моей матери, которой было всего три года, запомнилась она как невероятный сон. Многочисленные рассказы взрослых еще больше запутывали дело, будто нарочно складывая головоломную мозаику. Наиболее правдоподобная версия заключается в том, что мать Медардо Пачеко побудила его отомстить за свою поруганную полковником честь. Мой дед публично опроверг ложный слух о том, что спал с матерью Медардо Пачеко, но тот упорствовал и постепенно превратился из обиженного в обидчика, нанеся деду оскорбление, попытавшись запятнать его непогрешимую репутацию либерала. Но точных деталей случившегося мне узнать так и не удалось. Оскорбленный полковник вызвал Медардо на смертельную дуэль, не назвав точной даты.

И то, что он дал пройти времени между вызовом и собственно дуэлью, было характерным для деда. Тайно, чтобы гарантировать безопасность семьи в той альтернативе, которую предоставляла ему судьба – смерть или тюрьма, он привел в порядок все свои дела. Без спешки продал все, что удалось нажить после последней войны: ювелирную мастерскую и небольшую усадьбу, доставшуюся в наследство от отца, где он выращивал коз и имелся участок сахарного тростника. Через полгода в глубине шкафа он спрятал слиток серебра и спокойно дожидался дня, который сам для себя назначил: 12 октября 1908 года, годовщину открытия Америки.

Медардо Пачеко жил на окраине селения, и дед знал, что он не мог не присутствовать в тот день на процессии в честь Святой Девы Пилар. Перед тем как выйти из дома, дед написал жене короткое и нежное письмо, в котором указал, где спрятаны деньги, и дал несколько распоряжений по поводу будущего детей. Он оставил письмо под подушкой, чтобы она наверняка обнаружила его, когда ляжет спать, и, ни с кем не попрощавшись, вышел навстречу судьбе.

Все версии сходятся в том, что это был обычный Карибский октябрьский понедельник с унылым дождем из низких туч и погребальным ветром. Медардо Пачеко, одетый по-воскресному, только вошел в сумрачный переулок, когда полковник вышел ему навстречу. Оба были вооружены. Годы спустя, пребывая

уже в своих старческих лунатических дебрях, бабушка все твердила:

– Бог давал Николасито шанс помиловать этого несчастного, но он им не смог воспользоваться.

Возможно, она так действительно думала, потому что полковник рассказывал, что видел вспышку досады противника, застигнутого врасплох. Также он рассказал, что когда огромное, как дерево, тело рухнуло на заросли кустарника, то послышался бессловесный стон, «словно из затхлого притона». Легенда приписала моему Папалело сакраментальную фразу, произнесенную якобы в тот момент, когда он сдавался алькальду:

– Пуля чести победила пулю власти.

И эта фраза – совершенно в духе либералов его эпохи, но я все-таки никак не мог соотнести ее с дедовской манерой выражаться. Факт заключался в том, что свидетелей не было. Правдоподобные версии случившегося дали досудебные и судебные показания деда и жителей селения, но и они не пролили свет на трагедию. И до сих пор не существует версий, которые бы совпадали. Событие, конечно, раскололо семьи на два враждующих лагеря: одни семьи, в том числе убитого, были намерены мстить, другие радушно, как и прежде, принимали у себя в домах Транкилину Игуаран с детьми, несмотря на витавший в селении дух кровной мести. И все это произвело на меня в детстве такое впечатление, что я взвалил на себя часть дедовской вины, будто она была и моей виной, да и сейчас, когда пишу эти строки, ощущаю больше сочувствия к семье убитого, чем к своей собственной семье.

Папалело для большей его безопасности перевели в Риоачу, а позже в Санта-Марту, где осудили на год: половину срока в заключении и половину условно. Как только он вышел на свободу, с семьей отправился на непродолжительное время в Сьенагу рядом с Панамой, где жила одна из его внебрачных дочерей, и в конце концов осел в мрачном тогда, нездоровом округе Аракатака, где устроился кассиром в сельской управе.

Никогда больше он не выходил из дома вооруженным, даже в худшие времена банановых репрессий, лишь держал револьвер под подушкой для защиты дома. Аракатака оказалась далеко не той тихой заводью, о которой мечтали дед с бабушкой после пережитого с Медардо Пачеко. Она образовалась на месте

деревни индейцев чимила и вошла в историю как местечко без Бога и действия законов муниципалитета Сьенага, полностью деградировавшего из-за банановой лихорадки. Название образовалось так: вождь индейцев чимила носил имя Cataca, ara в переводе – «река, вода», и селение назвали Aracataka, что означает «источник прозрачных вод». Но местные называли ее просто Катака.

Когда дед уверял семью, что деньги тут текут по улицам рекой, Мина спокойно отвечала: «Деньги – это западня дьявола». Для моей матери Катака стала источником многих детских ужасов. Первым, который она запомнила еще совсем маленькой, было нашествие саранчи, которое опустошило поля с посевами.

– Они налетели, как камнепад, – сказала она, когда мы приехали продавать дом. – Насмерть перепуганные жители попрятались в своих домах, от беды могли спасти только сверхъестественные силы. В любое время нас заставали врасплох сухие ураганы, срывавшие крыши с домов, вырывавшие с корнем молодые банановые деревья и засыпавшие измученные селения какой-то космической пылью. Летом мы вместе со скотом страдали от ужасных засух, зимой разражались бесконечные ливни, более похожие на всемирный потоп, превращавшие улицы в бурные реки. Инженеры гринго плавали на резиновых лодках между утопшими коровами и матрасами. «Юнайтед фрут компани», благодаря своим искусственным оросительным системам ответственная за подтопления и потопы, в тот год отклонила русло реки, когда сильнейшее из наводнений размыло могилы на кладбище и по реке поплыли трупы.

Но гораздо более серьезные разрушения и бедствия, чем природа, нес с собой человек. Казавшийся игрушечным поезд выбрасывал в обжигающие пески палую листву авантюристов со всего мира, которые захватывали улицу за улицей. Этот наплыв повлек за собой резкий экономический подъем, демографический рост и всеобщую криминализацию. Из исправительной колонии Буэнос-Айреса, что находилась всего в пяти лигах, недалеко от Фундасиона, по выходным сбегали заключенные и наводили ужас на Аракатаку. С тех пор как индейские вигвамы и ранчо из бамбука под пальмовыми ветвями стали заменяться деревянными домами «Юнайтед фрут компани» с оцинкованными двускатными крышами, сверкающими окнами и навесами, увитыми запыленными цветами, наше селение стало больше всего походить на американские поселки из вестернов.

Это был бурный поток и водоворот незнакомых лиц, палаток вдоль большой дороги, мужчин, переодевающихся прямо на улице, женщин, сидящих на чемоданах под зонтиками от солнца, бесконечных мулов, умирающих от голода

и жажды на привязи у постоялых дворов, и те, кто прибыли первыми, становились последними. Мы были чужими на этом празднике или трагедии жизни, пришлыми.

Убийства совершались не только в пьяных субботних стычках. Как-то вечером мы услышали крики на улице и увидели, как верхом на осле проехал человек без головы. Ему отрубили голову во время расчетов за банановые плантации, и голову швырнули в ледяной поток сливной канавы. Ночью я услышал от бабушки привычное ее объяснение случившегося:

– Только качако мог сотворить такое.

Качако – значит, уроженец столичного региона, от остальной части человечества их можно было отличить не только по вялым манерам и грязным словечкам, но и по зазнайству, словно они посланцы самого Божественного Провидения. Постепенно этот образ стал настолько отвратительным, что после жесточайшего подавления забастовки внутренними войсками всех военных мы называли не офицерами и солдатами, а только качакос. Они представлялись единственными, кто пользовался благами политической системы, и многие из них доказывали это своим поведением. Только этим для нас был обусловлен весь кошмар «Черной ночи Аракатаки», легендарной резни, о которой в памяти народа сохранились столь смутные и противоречивые воспоминания, что непонятно, была ли она на самом деле.

Та страшная суббота началась с того, что местный житель, чья личность почему-то так и не была установлена, ведя за руку мальчика, вошел в буфет и попросил для ребенка воды. Один из приезжих, в то время напивавшийся у стойки, со смехом протянул мальчику вместо воды стакан рома. Отец возмутился, приезжий стал пьяно настаивать, и это продолжалось до тех пор, пока напуганный мальчик не опрокинул рукой выпивку. Тогда приезжий, не раздумывая, застрелил его.

И это тоже было одним из ужасов моего детства. Папалело мне часто напоминал о том случае, когда мы заходили выпить чего-нибудь прохладительного в таверны, но изображал все в таких нереальных красках, что, казалось, сам не верит. Должно быть, это произошло вскоре после переезда в Аракатаку, потому что мама помнила лишь, что взрослые были напуганы. О преступнике было известно, что говор его был приглаженным, как у жителей Анд, и что гнев местных жителей был направлен не только против самого убийцы, но и против

всех многочисленных отвратительных чужеземцев, говоривших так же. Отряды местных, вооруженных мачете, выходили по вечерам на темные улицы, останавливали незнакомцев и приказывали:

– Ну, говори!

И ничтоже сумняшеся могли изрубить на куски только за то, что прохожий говорил не так, как они. Дон Рафаэль Кинтеро Ортега, супруг моей тети Венефриды Маркес, самый типичный качако, который как раз должен был отпраздновать свой сотый день рождения, был спрятан моим дедом в кладовой до той поры, пока не утихнут страсти. Но горе постигло нашу семью на третьем году жизни в Аракатаке, когда умерла Маргарита Мария Миниата, бывшая у нас в доме лучом света. Долгие годы ее дагерротип красовался в гостиной, и ее имя, передававшееся из уст в уста от поколения в поколение, служило символом семейного единства. Хотя молодое поколение уже не так волновал образ той инфанты в плиссированной юбке, белых башмаках и с толстой косой до пояса, который никак не могли соотнести с тем, что рассказывала о ней бабушка. И у меня всегда было такое ощущение, что именно то состояние вечной тревоги и предчувствия беды, замешенное на угрызениях совести, утраченных иллюзиях и ностальгии, представлялось деду и бабушке наиболее похожим на мир. До самой смерти они всюду чувствовали себя чужаками.

В действительности они таковыми и являлись, но в толпах, прибывавших к нам на поезде, трудно было отличить тех от этих чужаков. С такими же мечтами на лучшую жизнь, как дед с бабушкой, приехали большие семье Фергюссонов, Дюранов, Беракасов, Кореа… Неудержимой лавиной через границы Провинции в поисках покоя, работы и свободы, утраченных на родине, катили итальянцы, канарцы, сирийцы, которых мы называли турками, всевозможных обличий и нравов. Были и беглые каторжники с острова Дьявола – французской исправительной колонии в Гайане, – более преследуемые за свободомыслие, чем за уголовные преступления.

Один из них, Рене Бельвенуа, французский журналист, осужденный по политическим мотивам, сбежал к нам в банановую зону и в своей откровенной книге рассказал об ужасах каторги. Благодаря всем им – добрым и недобрым людям – Аракатака стала страной без границ.

Иностранцы селились разрозненно или небольшими колониями. Для меня главную роль сыграла колония венесуэльская, в одном из домов которой обливались водой, черпая ее ведрами из очень холодного на рассвете бассейна, двое студентов-подростков на каникулах: Ромуло Бетанкур и Рауль Леони, которые полвека спустя стали весьма достойными президентами своей страны. Среди венесуэльцев самой близкой к нам была сеньора Хуана де Фрейтес, настоящая матрона, которая имела прямо-таки библейский дар рассказывать истории. Первой серьезной историей, которую я услышал от нее, была повесть «Хеновева де Брабанте», и она пересказывалась сеньорой Хуаной вперемешку с величайшими произведениями человечества, правда, сокращенными ею до детских сказок: «Одиссея», «Неистовый Роланд», «Дон Кихот», «Граф Монте-Кристо» и даже эпизоды из Библии.

Род деда был одним из самых уважаемых, но в то же время и наименее влиятельных. И все-таки он пользовался авторитетом даже среди церковных иерархов банановой компании. Род был представлен в основном ветеранами гражданских войн, либералами, которые обосновались здесь с легкой руки генерала Бенхамина Эрреры, из поместья которого, обустроенного в духе Неерландии, доносились по вечерам меланхолические вальсы его уютного мирного кларнета.

Моя мать заняла в этом зыбком мире центральное место, сосредоточив на себе всеобщую любовь с тех пор, как тиф унес Маргариту Марию Миниату. В детстве ее изводили сильнейшие приступы малярии. Но когда она окончательно вылечилась, Бог наградил ее здоровьем, позволившим отметить свой девяносто шестой день рождения с одиннадцатью своими родными детьми, четырьмя детьми супруга, шестьюдесятью пятью внуками, восемьюдесятью восемью правнуками и четырнадцатью праправнуками. Разумеется, не считая тех, о которых не было широко известно. Умерла она своей смертью 9 июня 2002 года в половине девятого вечера, когда мы уже начинали исподволь готовиться отпраздновать первый век ее жизни и в тот же день и почти в тот же час, когда я поставил финальную точку в этих воспоминаниях.

Она родилась в Барранкасе 25 июля 1905 года, когда семья едва только начала восстанавливаться после военного лихолетья. Первое имя ей дали в память о Луисе Мехиа Видал, матери полковника, скончавшейся ровно за месяц до рождения моей матери. Второе ей досталось в честь того, что она появилась на свет в день апостола Сантьяго-старшего, обезглавленного в Иерусалиме. Она скрывала это имя половину своей жизни, потому что оно казалось ей мужским и

неблагозвучным – до тех пор, пока один нерадивый ее сын не выболтал его в своем романе. Она была прилежной ученицей, успевая по всем предметам, за исключением класса фортепьяно, который ее мать ей навязала, считая, что уважающая себя сеньорита не может не быть виртуозной пианисткой. Послушно Луиса Сантьяга училась этому три года, но однажды бросила, почувствовав отвращение к ежедневным гаммам в пекле и духоте сиесты. Но это не было свидетельством слабости характера, что она и доказала двадцати лет от роду, вопреки семье и обстоятельствам страстно влюбившись в юного высокомерного телеграфиста из Аракатаки.

История этой противоречивой любви была еще одним ярким впечатлением моей юности. Родители столько рассказывали мне о ней, вместе и по отдельности, что знал я ее почти досконально, когда в двадцать шесть лет писал «Палую листву», мой первый роман, отдавая себе отчет в том, что мне еще только предстоит постичь писательское ремесло.

Оба были прекрасными рассказчиками, но были так счастливы и увлечены своими воспоминаниями, что когда я наконец решил использовать их в «Любви во время холеры» более чем полвека спустя, то не смог отличить правду от вымысла.

Согласно версии моей матери, впервые они встретились на отпевании умершего ребенка, но ни она, ни отец деталей вспомнить не смогли. Якобы, по народному обычаю, она со своими подругами пела о женском жребии, судьбе, любви и воспарении на небеса невинных младенцев, как вдруг к их многоголосому хору присоединился мужской голос. Все девушки обернулись – и оторопели от красоты незнакомца. «Выйдем замуж за него», – запели они припевом, хлопая ладошами в ритм. Но на мою мать его внешность особого впечатления не произвела, поэтому она сказала:

– Подумаешь, еще один из понаехавших.

Он таковым и оказался. Только что приехал из Картахены де Индиас, прервав обучение медицине и фармацевтике за недостатком средств, и вел бесшабашный образ жизни, скитаясь по городам и весям провинции, зарабатывая на хлеб насущный недавно освоенным ремеслом телеграфиста. На фотографии тех дней он имеет вид довольно подозрительного субъекта. Одевался он по тогдашней моде: жакет из темной тафты о четырех пуговицах с твердым воротником, широкий галстук, шляпа канотье. Кроме того, он носил

стильные круглые очки в тонкой оправе с обычными стеклами. Окружающим он представлялся богемным выжигой и ловеласом, хотя за всю свою долгую жизнь не сделал ни глотка алкоголя, не выкурил ни одной сигареты.

Тогда мать впервые его увидела. Он же ее заприметил в предыдущее воскресенье на восьмичасовой мессе, куда она приходила в сопровождении тетушки Франсиски Симодосеа, присматривавшей за ней с тех пор, как она вернулась из колледжа. Затем, во вторник, он прошел мимо их дома, когда она с женщинами вышивала у дверей в тени миндальных деревьев, и таким образом к ночи отпевания младенца прекрасно знал, что она дочь полковника Николаса Маркеса, к которому у него были рекомендательные письма. Вскоре она узнала, что он холост, влюбчив и что его неиссякаемое красноречие, способность экспромтом слагать красивые стихи, изящество, с которым он танцевал модные танцы и проникновенная чувственность, с которой он играл на скрипке, имеют успех. Мать рассказывала мне, что девушки, слышавшие, как он играл на рассвете, не могли сдержать слез. Его визитной карточкой был томно-романтический вальс, который он исполнял непременно и всюду, часто на бис: «После бала». Все это открывало ему двери во многие дома, в том числе и в наш, и вскоре он стал завсегдатаем на обедах в доме деда и бабушки. Тетушка Франсиска, потомок Кармен де Боливар, настолько разомлела, узнав, что вдобавок к очевидным его достоинствам он и родился в Синее, что по соседству с ее родным селением, что фактически усыновила его. Луису Сантьягу забавляли на людных праздниках его ловушки умелого соблазнителя, но у нее и в мыслях не было, что он претендует на нечто большее. Напротив, поначалу она делилась с ним своими первыми любовными секретами, как со своей товаркой по колледжу, и даже согласилась быть посаженой матерью у него на свадьбе. С тех пор он и называл ее шутливо крестной мамой, а она его – крестником.

И можно представить себе, каково было изумление Луисы Сантьяги, когда однажды вечером на танцах телеграфист решительно вынул из петлицы на лацкане розу и, протянув ей, заявил:

– С этой розой я вручаю вам свою жизнь.

Он много раз рассказывал, что это не было импровизацией, что только после того, как он близко познакомился со многими девицами, он сделал вывод, что именно Луиса Сантьяга создана для него. Она восприняла розу как шутку или очередной галантный комплимент из тех, что он беспрерывно делал ее подругам. И поэтому, уходя, где-то забыла розу, а он это заметил. У нее был

тайный воздыхатель, не очень удалый поэт, хотя и добрый друг, которому не удавалось тронуть сердце своими пламенными стихами. А роза Габриэля Элихио каким-то неизъяснимым образом запала ей в душу и нарушила девичий сон.

* * *

В нашем первом серьезном разговоре о ее романе с моим будущим отцом, уже имея множество детей, она призналась:

– Я не могла спать от бешенства, что он не идет у меня из головы, но чем больше я бесилась, тем больше о нем думала.

Остаток недели она себя убеждала в том, что ей совершенно не хочется его видеть, но мучило то, что она его не видит. Отношения крестной и крестника в какой-то момент переросли в полное отчуждение. Однажды вечером тетя Франсиска со свойственной ей индейской хитрецой, как ни в чем не бывало, с отсутствующим видом поддела племянницу:

– Говорят, намедни тебе преподнесли розу.

Как это обычно бывает, Луиса Сантьяга последней узнала, что терзания ее сердца стали всеобщим достоянием. Я бесконечно подробно расспрашивал отца и мать об их романе, и они сходились в том, что их свели три решающих момента.

Во-первых, торжественная месса по случаю Вербного воскресенья. В церкви Луиса Сантьяга сидела на скамье с тетей Франсиской справа, со стороны Писания, когда он прошел мимо, едва не задев их, и, услышав совсем рядом стук его каблуков для фламенко, она тут же почувствовала, как на нее пахнул ни с чем не сравнимый запах лосьона явно влюбленного мужчины. Тетя Франсиска, казалось, не заметила его, он вроде бы тоже их не увидел.

Но на самом деле все было замышлено им загодя, он шел за ними следом от телеграфа до церкви и из-за ближней к выходу колонны долго любовался ее плечами, она же не подозревала об этом, а когда увидела, то вопрос был решен. Это по его мнению. Мать же, напротив, уверяла, что ощутила на себе его взгляд буквально через несколько минут, обернулась, их взгляды встретились – и она вспыхнула от бешенства.

– Произошло все в точности, как я планировал! – счастливый, в очередной раз повторял мне свой рассказ отец уже в старости.

Мать уверяла, что три дня после этого была в ярости, чувствуя себя попавшей в ловушку.

Во-вторых, письмо, которое он ей написал. Но не такое, какое она могла ожидать от поэта и исполнителя серенад на рассвете, а весьма конкретное, с требованием, чтобы она дала ему ответ до ее отъезда в Санта-Марту. Письмо осталось без ответа.

Она закрылась у себя в комнате, чтобы убить в себе червя терзающих сомнений, и сидела там до тех пор, пока тетя Франсиска не настояла на том, чтобы Луиса Сантьяга отперла дверь и выслушала ее. Тетя стала уговаривать соглашаться по-хорошему пока не поздно. Рассказывала племяннице поучительную историю о том, как ухаживал за возлюбленной Хувентино Трильо. Он каждый божий день с шести до десяти нес караул под ее балконом, она всячески оскорбляла его, опорожняла ему на голову ночные горшки, но все-таки не смогла отвадить и в конце концов, после всех боевых крещений сдалась перед непобедимой силой любви: вышла за него замуж. История любви моих родителей до такой крайности, как ночной горшок, не дошла.

В-третьих, свадьба, на которую они оба были приглашены как посаженые отец и мать. Луиса Сантьяга не нашла предлога, чтобы отказаться, и не хотела обижать близких друзей семьи. Габриэль Элихио тоже сделал вид, что искал повод не прийти, но явился, хотя и позже всех. Ее крепость была окончательно взята, когда она увидела, с какой несомненной решимостью он пересек зал и пригласил ее на танец.

– Кровь мне ударила в голову так, что все поплыло, и я уже не понимала, взбешена я или испугана, – сказала она мне.

Он это понял и нанес последний сокрушительный удар:

– Теперь у вас нет другого выхода, кроме как сказать мне «да», потому что ваше сердце за вас уже это сказало.

Она оборвала его на полуслове и ушла, но мой отец, так и оставшись стоять посреди зала, все понял.

– Я был счастлив, – сказал он мне.

И все же Луиса Сантьяга не смогла совладать с раздражением, направленным на себя саму, когда на рассвете ее разбудили победоносные звуки вальса «После бала». На следующий день она вернула Габриэлю Элихио все его подарки, нанеся незаслуженную обиду, но ничего нельзя уже было изменить: дальнейшие события, как перья, брошенные по ветру, неудержимо влеклись в одном направлении. И все восприняли это как должный финал летней бури. К тому же у Луисы Сантьяги произошел рецидив малярии, которой она страдала в детстве, и мать увезла ее на лечение в райское местечко Манауре у излучины реки в отрогах Сьерры-Невады. Оба моих родителя уверяли, что в те месяцы, пока она болела, они не поддерживали связь, но в это не слишком верится, так как когда она выздоровела, то и он сразу будто заново родился. Отец рассказывал мне, что поехал встречать ее на станцию, потому что был извещен о приезде телеграммой от Мины, в которой она передавала привет от самой Луисы Сантьяги, что он расценил не иначе как откровенное любовное послание. Она сама, правда, это отрицала с застенчивостью, с которой вообще всегда вспоминала те годы. Но факт тот, что с тех пор между ними стало гораздо меньше недомолвок и они уже открыто появлялись на людях вместе. Не хватало лишь заключительного аккорда, который взяла тетя Франсиска на следующей неделе, когда они шили в галерее с бегониями.

– Мина уже все прекрасно знает, – сказала она.

Луиса Сантьяга всегда говорила, что противостояние ее семьи, как плотина, удержало ее от устремления сердца идти танцевать с Габриэлем Элихио и оставить его стоять посреди зала неприкаянным. Это была настоящая война. Полковник поначалу делал вид, что не собирается вмешиваться, но Мина со свойственной ей манерой резать правду-матку в глаза вывела его на чистую воду: он оказывал влияние на дочь, и весьма значительное. В роду испокон века считалось едва ли не аксиомой, что любой жених, по определению, – проходимец. И именно на этих тлеющих углях атавистического костра из поколения в поколение готовились обособленные единства одиноких, спаянных между собой женщин и мужчин с вечно расстегнутой ширинкой, круглосуточно готовых налево и направо строгать внебрачных детей.

Друзья семьи в зависимости от возраста поделились на два лагеря: «за» и «против» влюбленных. Но были и придерживавшиеся нейтралитета. Молодые стали веселыми сообщниками. Особенно жениха забавляла роль жертвы общественных предрассудков. Кривотолки о том, что некий пронырливый прохиндей-телеграфист намеревается сугубо по расчету жениться на Луисе Сантьяге – главном сокровище богатой и могущественной семьи, его даже окрыляли. Да и сама она, прежде послушная скромница, теперь противостояла этим кривотолкам с яростью только что родившей львицы. В разгар одного из домашних скандалов Мина в гневе бросилась на дочь с ножом для резки хлеба. И Луиса Сантьяга отважно подставила грудь. Опомнившись, Мина отбросила нож и с ужасом воскликнула:

– Господи Боже мой!

И словно в искупление, обожгла себе ладонь о раскаленные угли плиты.

Одним из главных аргументов против Габриэля Элихио был тот, что он – незаконнорожденный бедной учительницей, в сорокалетнем возрасте отдавшейся какому-то учителю на школьной парте. Ее звали Архемира Гарсиа Патернина, это была белокожая стройная женщина свободных нравов, имевшая, кроме Габриэля Элихио, еще пятерых сыновей и двух дочерей, по крайней мере от трех разных мужчин, ни с одним из которых не состояла в браке. Она жила в селении Синее, где родилась, где самостоятельно вырастила и по-своему воспитала детей, красивая, с веселой открытой душой женщина, которую мы, внуки, впервые встретившись с ней в Вербное воскресенье, очень полюбили.

Габриэль Элихио был ярким представителем этого рода гуляк-голодранцев. С шестнадцати лет не было счета его любовницам, многих девушек, по крайней мере пятерых, он лишил невинности, в чем исповедовался моей матери в первую их брачную ночь на борту хлипкой шхуны, шедшей в Риоачи, швыряемой штормом. Он признался, что одна из них, восемнадцатилетняя телеграфистка в селении Анчи, родила от него сына Абелардо, которому уже исполнилось три года. Другая, двадцатилетняя телеграфистка в Аяпель, на которой он обещал жениться до того, как влюбился в Луису Сантьягу, несколько месяцев назад родила от него дочь Кармен Росу. О рождениях детей ему сообщал нотариус, но их матери никаких претензий к Габриэлю Элихио не имели.

Удивительно, что такой морально-нравственный облик мог беспокоить полковника Маркеса, который параллельно с тем, как зачал троих законных

сыновей, сделал не меньше девятерых на стороне, и все были приняты его супругой как свои собственные. Не могу вспомнить, когда я узнавал о похождениях родственников, они были бесконечны, да меня это и не очень-то расстраивало. Мое внимание всегда привлекали наши фамильные имена. Сперва по материнской линии: Транкилина, Венефрида, Франсиска Симодосеа. Позже и по отцовской: Архемира, ее родители Лосана и Аминадаб… Пожалуй, от этого во мне вызрело понимание того, что персонажи моих романов не оживут, пока не найдутся соответствующие их образам и характерам имена.

А аргументы против Габриэля Элихио подкреплялись еще и тем, что он являлся активным членом консервативной партии, против которой воевал в свое время либерал-полковник Николас Маркес. После подписания договора между Неерландией и Висконсином мир был достигнут лишь наполовину, но прошло еще немало времени, прежде чем возобладал централизм, а правые и либералы перестали показывать друг другу зубы. Возможно, консерватизм Габриэля Элихио был не столько его убеждением, сколько семейной инфекцией, но все же этому придавалось большее значение, чем его остроумию и несомненной честности. Отец был человеком непредсказуемым и самолюбивым, ему трудно угодить. Он всегда был намного беднее, чем казался, бедность для него была злейшим врагом, которому он, однако, так и не смог ни покориться, ни нанести поражение. Все злоключения, касающиеся его ухаживаний за Луисой Сантьягой, он переносил стойко, чаще, насколько я знаю, в одиночестве. В подсобном помещении телеграфа в Аракатаке у него был подвешен односпальный гамак, однако рядом стояла холостяцкая раскладушка с хорошо смазанными пружинами – на всякий случай. Временами в нем просыпался инстинкт ночного охотника и одиночество его скрашивали – но все же это было одиночество, и когда я это понял, то ощутил глубокое сочувствие к нему.

Незадолго до смерти он рассказывал мне о том, какие обиды ему наносились. Однажды с несколькими друзьями он пришел в дом к полковнику, тот всем предложил сесть, кроме него. Родственники матери всегда это отрицали, уверяя, что Габриэль Элихио просто всегда был слишком обидчив, но моя бабушка, будучи почти уже в столетнем возрасте, вспоминая былое, в полубреду однажды проговорилась с искренним сожалением:

– Да, я помню, как один бедняга стоял у двери гостиной, а Николасито не предложил ему даже присесть.

Привыкший к ее неожиданным и порой ошеломительным разоблачениям, я спросил, кто был этот бедняга, и она чуть удивленно, будто ответ был очевиден, сказала:

– Как это кто, Гарсиа, тот, что со скрипкой.

Среди нелепостей истории ухаживания, мало вяжущихся с характером и образом жизни Габриэля Элихио, была та, например, что, опасаясь непредсказуемости и вспыльчивости отставного полковника, наслышанный о давнишней дуэли, он приобрел себе револьвер. Почтенный, сменивший многих хозяев «смит-и-вессон» 38-го калибра, на счету которого было бог знает сколько убитых. Но я уверен, что он даже из любопытства или для проверки ни разу из него не выстрелил. Мы, его старшие сыновья, нашли его много лет спустя с пятью родными патронами в шкафу среди какого-то хлама, рядом со скрипкой, на которой он исполнял серенады.

Ни Габриэль Элихио, ни Луиса Сантьяга не спасовали перед трудностями и очевидным противодействием семьи. Вначале они имели возможность встречаться в домах общих друзей, но когда круг вокруг нее сжался, единственной формой общения стали письма, получаемые и отправляемые самыми хитроумными путями. Виделись они лишь издали на многолюдных праздниках. Расправа могла быть суровой, Транкилине Игуаран никто не осмеливался перечить, и посему они постепенно перестали видеться на людях. Когда и тайная переписка стала невозможной, они все же изобретали самые немыслимые ухищрения, находили удивительные пути. Так, например, ей удалось спрятать визитную карточку с поздравлением в пудинг, заказанный на день рождения Габриэля Элихио, а тот умудрился отправлять ей бессмысленные для чужих глаз послания с зашифрованным или написанным симпатическими чернилами текстом. Сообщничество тети Франсиски сделалось настолько очевидным, что теперь ей позволялось выходить с племянницей разве что пошить перед домом под миндальными деревьями. Габриэль Элихио и тут нашел выход: он передавал любовные послания на языке глухонемых из окна дома Альфредо Барбосы на противоположной стороне улицы. И она постепенно выучила язык глухонемых настолько, что, когда тетя отвлекалась, могла вести с женихом безмолвный интимный разговор. Это был один из многочисленных трюков, придуманных Адрианой Бердуго, повивальной бабкой Луисы Сантьяги, ее самой преданной и отважной сообщницей.

Так поддерживался огонь в печи их чувств, пока Габриэль Элихио не получил от Луисы Сантьяги письмо, заставившее его срочно принимать решение. Она черкнула на обрывке туалетной бумаги, что родители придумали жестокое лекарство от любви: отправить ее в селение Барранкас. Предстояло не плавание на шхуне ночью по бурному морю из Риоачи, а долгий и трудный путь по отрогам Сьерры-Невады на мулах через всю обширную провинцию Падилья.

– Я бы предпочла умереть, – сказала мне мать в день, когда мы с ней поехали продавать дом.

И она действительно пыталась это сделать, закрывшись на толстую палку в своей комнате, сидя там в течение трех суток на хлебе и воде, пока почтительный трепет, который она испытывала перед своим отцом, не возобладал. Габриэль Элихио понимал, что напряжение достигло предела и отступать некуда. Широкими шагами он пересек улицу от дома доктора Барбосы и подошел к женщинам, шившим в тени миндальных деревьев.

– Сеньора, – обратился он к тете Франсиске, – сделайте одолжение, оставьте нас с сеньоритой буквально на секунду, мне необходимо сказать ей нечто очень важное.

– Наглец! – возмутилась тетушка. – У нее нет и быть не может от меня секретов.

– Тогда я ей ничего не скажу, – заявил он, – но имейте в виду, что ответственность за то, что произойдет, ляжет на вас.

На свой страх и риск, Луиса Сантьяга умолила тетю оставить их с глазу на глаз. Габриэль Элихио торопливо сообщил, что согласен на ее поездку с родителями и будет ждать ее, сколько потребуется, но с условием, что она поклянется выйти за него замуж. Она осчастливила его, сказала, что только смерть могла бы помешать их союзу. Им предстояло почти год провести в разлуке, чтобы испытать на прочность свои чувства, но ни он, ни она не могли себе представить, чего на самом деле это будет им стоить.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Роман Уильяма Фолкнера. – Здесь и далее примеч. пер.

Купить: https://tellnovel.com/ru/gabriel-markes/zhit-chtoby-rasskazyvat-o-zhizni-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить